



1989

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

გ. ბერიძე  
ბ. ბერიძე  
ს. სურგულაძე  
თორაგზე  
ა. ყურაშვილი  
მ. ბერიძე



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ШОТА НИШНИАНИДЗЕ.** Стихи. Перевод  
Яна Гольцмана . . . . . 3
- ЗАУР КАЛАНДИЯ.** Жертва. Роман. Перевод  
Георгия Сартания . . . . . 8
- ВАХТАНГ ХАРЧИЛАВА.** Стихи. Перевод  
Владимира Николаева . . . . . 79
- АВТАНДИЛ АДЕИШВИЛИ.** Рассказы. Пе-  
ревод Ирины Зурабашвили . . . . . 82
- ГЕОРГИЙ ГУЛИА.** Аравийская повесть . . . . . 98

### ПУБЛИЦИСТИКА

- ГИА НОДИА.** Нация и демократия . . . . . 149
- ИРИНА КУПАРАДЗЕ, МИХАИЛ ЕЛИГУЛА-**  
**ШВИЛИ.** Это было со мной... . . . . . 192

# 2

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси  
Журнал выходит с июня 1957 года

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ  
ЛУАРСАБ ЯШВИЛИ. Светлой памяти дири-  
жера... 202  
СЕРГИ ЧИЛАЯ. Мысли, навеянные подарен-  
ной книгой 208

ИСКУССТВО  
ГУЛБАТ ТОРАДЗЕ. Рожденная для скрипки . 215

РЕЦЕНЗИИ

ВЛАДИМИР ПРОСТОСЕРДОВ. Возвращение  
к стиху . 219

НЕКРОЛОГ

Памяти Гии. . 224

ХРОНИКА . 201, 214

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВЛОТА ИНИШИНАИДЗЕ. Стихи. Перевод

И. С. Голубкина

С. Г. КАКАИДИ. Жития. Роман. Перевод

Т. Д. Голубкина

МАХИАНТ ХАРИШАВА. Стихи. Перевод

В. Д. Голубкина

АВТАНДИА АЛЕВИШИВИ. Рассказы. По-

этика. Перевод И. С. Голубкина

И. КОЛТИН. А. Абрамидзе. Абрамидзе. Новеллы

ПОВЕСТИ

И. С. ГОЛУБИНА. Жизнь и деятельность

И. С. ГОЛУБИНА. Жизнь и деятельность

И. С. ГОЛУБИНА. Жизнь и деятельность

## Горский танец

Точно ястреб, слезу за тобою,  
За тобой — перепелкой нежной.  
— Я — клинок, обнаженный к бою,  
Ты — тростинка в траве прибрежной.

— Гей, клинок, блистающий в силе,  
Знай, что завтра с тобой не встречаюсь:  
Признавай меня ножнами. Или —  
На твое острие бросаюсь!

Круг сейчас же подхватит фразу —  
Песня круче, хлопки все резче.  
«Меч» в кругу расцветает сразу,  
А «тростинка» крылами плещет.

— Ах ты, птица-перепелица,  
Ах, тростинка — основа свирели,  
Мне бы клювом в тебя вонзиться  
Иль заставить выдохнуть трели...

\* \* \*

В тот пасмурный день, когда я появился на свете,  
Господь алычовой кистью светлил Имерети.

Как март, переменчива доля. Я жил, подрастая.  
Судьба непростая. И все же, наверно, простая.

И лишь одного не касаются все перемены:  
Краса алычовая,  
Горечь ее —  
Неизменны...

\* \* \*

На берегу Риони светят ее цветы.  
Белая ива, кто ты? Ивушка, кто же ты?  
На берегу Риони кличет кулик кулика.



ՀԱՅԿԵՍՏԱՆԻ  
ՄԱՐԿՈՎԻՆԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐԱՆԻ

Что принесли Риони волны издалека?  
 Что это там белеет на берегу речном?  
 Камень могильный — кто-то спит беспробудным сном.  
 На берегу Риони ива роняет цветы.  
 Белая ива, кто ты? Ивушка, кто же ты?

\* \* \*

О, зависть и злоба,  
 Они — вездесущая сила:  
 От них не укроют  
 Ни дом, ни строка, что отрыта,  
 Подобно окопу.  
 Одна остается защита —  
 Последний окоп и надежда —  
 Сырая могила.

\* \* \*

Верно, от мертвой птицы — бессмертна птица! —  
 Он родился и ожил, тростник поющий.  
 В струнах зеленых, в этой звучащей гуще,  
 Камень и почва с Небом успели слиться.  
 Памятью полон сын тростниковой чащи,  
 Он на ветру рассветном поет, как птаха.  
 Слушают птицы и не скрывают страха:  
 Что-то родное чудится им все чаще.

## Песня, слышанная на станции Броцеула

Ой, родимый виноградник, дом родной, —  
 На семь лет прощаюсь с милой стороной.

Ой, жена моя и малое дитя,  
 На кого вас покидаю, уходя?

Ой, быки мои! Любимый плуг, поверь, —  
 Без ножа меня зарезали теперь.

Ой ты, поле на рионском берегу,  
 Я тебя засеять больше не смогу.

Кто орехи отрясет в саду родном  
 Да закупорит большой кувшин с вином?

Кто шарманку станет мучить-утомлять,  
Если мне на свадьбах больше не гулять?



Черным дымом поперхнувшийся камин,  
Запылай! Неужто горестью томим?

Ой ты, девушка, утешь и угоди —  
Спрячу голову на девичьей груди.

И любовь твою у мира на виду —  
Бык яремный — за собою поведу!

...Так прощались в Имерети. Долгий стон...  
Уходили, чтоб отчизну уберечь.

На германских картах крымский город Керчь  
В это время черным метился крестом.

\* \* \*

Осень в деревне. Валы листопада.  
Отсвет камина. Струится беседа  
Под шелестенье дождя проливного.  
В темной теснине рыбиной белой  
Бьется ручей, разбиваясь о камни.  
Тлеют поленья — выходит наружу  
Дух неоглядного леса и ливня.  
Славно пекутся на углях грибы!  
Их достают и катают в ладонях,  
Дуют, а после плеснут из кувшина,  
Чтоб остудить и очистить от пепла.

...За бузиной привязали козу.  
Каждый к своим повернувшись воротам,  
Мокрые буйволы давятся ревом...  
В дом заглянули соседи-сельчане.  
Сняли мотыги с плеч, поклонились.  
Каждый неспешно оскреб сапоги  
Об острие неразлучной мотыги.  
Заговорили об урожае  
И раскурили мокрый табак.  
Тлеют поленья — выходит наружу  
Дух неоглядного леса и ливня.  
Собака, мокрая, как собака,  
Враз задымилась возле огня...

# Переживший клиническую смерть



Позавчера простился с близкими, умирая.  
В рай поспешил да вижу — заперты двери рая.  
«Возвращайся, — сказали. — В том цветущем краю,  
Где обитают грузины, каждый живет в раю!»

## На Ачисцкали

Прохлада ниспадающей реки —  
Продлись навеки благодать такая! —  
По мне скользят холодные мальки,  
Усач с небес свергается, сверкая.

Скорей под солнце! Лечь на валуне.  
Лицо — в тени орешины, в прохладе.  
Когда бы здесь приют нашелся мне,  
В Тбилиси ехать — да чего бы ради?

\* \* \*

Те, кто любимы, те, кто любил меня, —  
Спят беспробудно в каменной глубине.  
Те, кому нравился, те, кто нравился мне, —  
Изредка вспомнят меня у иного огня.

Весны мои отлетели на крыльях дроздов,  
И посещение прежде знакомых мест  
Стало желанным: только взгляну окрест —  
От подступившей боли стонать готов.

Чувство такое — неведомое дотоль, —  
Словно бывшее вновь отгоняет мрак.  
Горечь лекарства душу врачует так,  
Новую болью так заглушают боль.

\* \* \*

Приснилось: тот, кто вырастил меня,  
Так постарел, что стал теперь подобен  
Слепому беззащитному быку.  
Меня он толком даже не узнал,

Должно быть, снова принял за ребенка  
И принялся ладонью жесткой гладить,  
Как некогда, десятки лет назад.  
Растроган давней малостью моею,  
Он одарял меня такой любовью,  
Что защемило сердце. Горечь слез  
Нахлынула, перехватила горло.  
...До света так и не сумел уснуть —  
В такие сны невысказанно вернуться.  
Наутро подзаял деньжат и тотчас  
Отправился проведать старика.



## Немужественный стих

Господи, если ты любишь меня,  
Лучше убей во сне,  
Чтобы узнать не случилось мне  
Цепких объятий смерти.  
Лучше не видеть мне нового дня.  
Так и закончится все для меня  
Или... начнется на свете.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА







# ЖЕРТВА

РОМАН

Столик, что стоит между сложенными в человеческий рост пустыми ящиками слева от кухни (оттуда виден весь зал), принадлежит Барону. И железный стул с выцветшей и изъеденной фанерной спинкой его. Никто, кроме Барона, на него не садится.

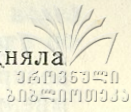
Родом он из этих мест. Приморский город не так уж и мал, но в нем Барона знают все: рабочий и интеллигент, школяр и бездельник, пьянчужка и преступник... Даже случайно забредший в кофейню отдыхающий понимает, кто он такой — у Барона все на лбу написано.

Одиннадцать часов утра.

Барона еще нет, но скоро он явится и сядет за свой столик между ящиками. Так было тогда, когда кофейня принадлежала ему, так и теперь, когда он ее продал. Раньше здесь подавали только кофе — восточный, ароматный. Кофе и теперь хорош, но, кроме него, отпускают коньяк и минеральные воды. Вот уже несколько лет, как кофейней владеет Рафик. Барон же попал в переделку из-за падчерицы... Когда Барон женился, падчерице было три года. Он ее воспитал и, как сам говорил, любил как родную. Так вот, лет пять или шесть назад он застал ее с соседским парнем (по городу разнесся слух, что Барон накрыл парочку в собственной постели). Барон исполосовал девятнадцатилетнему парню лицо осколком бутылки и выдрал глаза. Пока он так разделялся с ним, до смерти напуганная падчерица в чем мать родила выпрыгнула из окна и скрылась в ночи. Не поступи она так, досталось бы и ей, да и ее

---

Печатается с небольшими сокращениями.



матери, если бы та, запершись в комнате, не подняла крик, который вспошил всю округу.

На три года посадили Барона.

Рафик, хорошо его зная, решил перестраховаться. Он известил Барона о том, что как только тот выйдет из тюрьмы, он откупит у него кофейню, куда Барона и так не допустят с судимостью (словно это была первая его судимость!). Действительно, в день освобождения Барона Рафик направил к нему «людей», и они договорились о цене.

Жена и падчерица не стали дожидаться Барона. Они уехали в Одессу, прихватив с собой изуродованного им соседа. Барону сообщили об этом, но, как видно, его перестала интересовать их судьба. «Я сделал свое дело, — сказал он. — Правда, жаль, что не сделал этого раньше». Видно, распутство падчерицы не было для него новостью. К тому же домашние давно ему надоели. Последние годы Барон жил сам по себе, жена и падчерица — сами по себе, разве что кров делили, как постояльцы.

Еще рано.

Заняты лишь два столика. За одним сидят старики-пенсионеры, завсегда и кофейни, закадычные друзья и известные в городе люди. Тот, что сидит в анфас, заслуженный артист республики, официально, а в районном масштабе — истинно народный. Второй, который сидит в профиль к двери, не менее заслужен. Это педагог и первый в городе директор русской средней школы.

Актер, наслаждаясь душистым кофе, пьет его смакуя и равнодушно кивает головой сетующему на погоду, ревматизм и прессу другу юности.

За вторым столиком сидят пятеро.

Здесь, в кофейне, есть свой угол и у пьяниц; с утра они тут как тут, еще до открытия. Небритые, с посиневшими носами, в помятой и поношенной одежде — бывалые алкаши, и распухшие, с мешками под глазами, испуганно смотрящие — новички... Редко пьют кофе, да и коньяк им не по карману, водки же и пива здесь не подают. Они принесли из гастронома пиво, сидят и похмеляются, то и дело поглядывая на дверь. Трудно сказать, кого ждут — нарочного ли с бутылкой водки, или, может быть, надеются на чудо... Так и сидят, забившись в угол, как мыши.

Внос спиртных напитков извне, конечно же, строго воспрещен, о чем извещает табличка на стене, но, по мнению Рафика, «разве им это втолкуешь?!» Зато все пустые бутылки (которых за день набирается изрядное количество) достаются ему. Не то, чтоб он нуждался в этих бутылках, нет, конечно. Просто Рафик расчетлив и твердо знает, что большего с них не возьмешь.

В зал вошел Алиа.

Он сел неподалеку от столика Барона.

Пенсионеры Алиа не заметили, так как в момент, когда он проходил мимо, актер выхватил из рук педагога (возмущенно читавшего другу статью об очередном выпаде какой-то страны против социализма) газету, смял ее и швырнул на пол.

Зато алкаши заметили Алиа. Они дружно проводили его взглядом и переглянулись. Один из них что-то сострил на его счет, другие подхватили остроту и дружно зашептались.

Алиа не обратил внимания на их язвительный шепот и скрип стульев. Войдя, он даже не поздоровался с ними, чем, видно, и вызвал их неприязнь. Он отлично знал каждого из них, с некоторыми даже «дружил» — распивал вино и водку. Правда, это было раньше, лет семь тому назад, и длилось не более полугода. Алиа случайно попал в их компанию, как бы по инерции, и без особого интереса проводил с ними время. Не любил он этих людей. Ни тогда, когда водился с ними, ни сегодня. И не потому, что чурался спиртного, напротив, выпивал почти каждый день, но к алкашам его не тянуло. Часто пьющие люди ненавидят пьяниц, так как считают, что сами пьют на собственные средства и даже в состоянии других угостить. Такой отождествляет алкоголизм с попрошайничеством, что, конечно, неверно... А Алиа? Днем он работает, содержит себя и прикованную к постели мать, и если ночью ложится пьяным в постель, то это уже его личное дело и никого это не касается. Так он считал.

Сегодня...

Сегодня день особенный, ему не до них. Он пришел к Барону. Чтобы раздобыть оружие — пистолет с патронами. Алиа поклялся отомстить за брата. Так и сказал — «через три дня». И скверно выругался. И поклялся живыми и мертвыми. Вчера к человеку, вызвавше-

му его ярость, Алиа направил друзей Гуджи и велел им передать, чтобы убийца единственного его брата остерегался его и покинул город.

В свою очередь Бондзи пригрозил, дескать, если несчастный не угомонится, то он всучит ему в руки собственную голову и с этим подарком отправит на тот свет, к падле братцу. Так и сказал.

Друзья передали Алиа угрозу Бондзи, но, высказав ему свою любовь, отметили: действовать должен он, ибо — он брат, значит, первое слово за ним.

Это было последней каплей.

Алиа был единственным братом Гуджи — младшим и любимым. Брат всегда был предметом его гордости, защитником и покровителем. Алиа нравились каждое его слово, жест, поступок. Он слепо верил Гудже, и кто, как не он, должен был отомстить за брата.

Рафик поставил перед ним кофе и боржом.

— Коньяк не выпьешь? — спросил.

— Коньяк? Нет, спасибо.

Алиа отхлебнул горячий кофе и обжег рот.

Возможно, Рафику показалось странным это «спасибо», и он как-то нежно, с сочувствием глянул на Алиа, улыбнулся ему, похлопал по плечу и отошел. Парню не понравилось это. Он неуклюже повел плечом, будто хотел стряхнуть прикосновение Рафика.

В городе все еще помнили про нашумевшее убийство Гуджи. А Рафик не мог не знать, что Бондзи уже на свободе и что Алиа ведет с ним переговоры. Для этого у него был вполне натренированный слух.

Сегодня Алиа был готов ко всему. Он отлично понимал, что могло последовать за его терпеливым ожиданием Барона здесь, в кофейне. На десять лет, может, чуть меньше, осудят его. Но что такое десять лет, когда речь идет об убитом брате, когда иного пути не дано...

Словом, он был уверен, что скорее умрет, чем отступится.

Двенадцать лет отделяли Алиа от того рокового дня. То вечностью казалось ему это время, то кратким зимним днем, растаявшим мгновенно.

Дважды выстрелил Бондзи в Гуджу, днем, в центре

города, из «Москвича». Алиа был на месте преступления, стоял рядом с братом, касаясь плечом его плеча.

Первая пуля угодила Гудже в грудь, вторая — в живот и застряла в позвоночнике.

Двенадцать лет дали Бондзи.

Сегодня он уже на воле, свободно разгуливает по городу, катается на новеньком «Фиате», никого не стесняясь. Со дня его появления в городе Алиа навещали разные люди — и дома, и в гараже. Говорили, скорее глазели, ибо им без слов удавалось сказать: «Несчастный, убийца твоего брата на воле, а ты что делаешь?!». Может, не то имели в виду, но... Ведь если не сегодня, так завтра он встретится один на один с Бондзи... Тем более, что предостережение Алиа покинуть город больше походило на просьбу, Бондзи же прибегнул к угрозе. И не было в этом ничего удивительного. Враг был беспощадным, коварным. Тюрьма не исправила убийцу, напротив, он стал опаснее, как бешеный пес...

«Я должен убить его...» — твердил про себя Алиа. Ведь все эти годы он думал о встрече с убийцей, убеждал себя, сам представлял себя убийцей злее и беспощаднее Бондзи. Правда, тот еще жив, разгуливает на воле и вкушает радости жизни, но в воображении Алиа он давно мертвец... Часто перед сном он представлял себе Бондзи, валяющегося на земле, извивающегося, раздавленного, подобно червяку. И потом, если он засыпал трезвым, во сне эта картина повторялась, будоражила его — и он просыпался весь в поту.

В дверном проеме появилась коричневая дворняжка. Она обнюхала крыльцо и потерлась мордой о цементный пол. Увидев ее, Рафик схватил палку и с криком ринулся к двери. Поняв его намерение, дворняга завертелась и, поджав хвост, убралась восвояси... Пьяницы глянули на ворчащего Рафика, заскрипели стульями и зашептались.

В кофейню вошел Барон.

Алиа напрягся, вперив в него взгляд... Барон равнодушно, как незнакомый, быстро прошел мимо.

Ему было пятьдесят три, но выглядел он старше, лет эдак на десять. Седой, высокий, сухощавый, Ба-

рон ходил, вскинув вверх голову, словно не полагаясь на прочность своей шеи.

«Подойду к нему чуть позже», — подумал Алиа. Он волновался и слышал, как шумно в груди бьется сердце.

Быстро допив кофе, Алиа встал.

Он знал, на что шел, и понимал, что ему надо держаться непринужденно, говорить твердо. Шепот пьяниц и их скрытые взоры сковывали его, путали шаг, но Алиа не оглянулся.

— Здравствуй, — сказал он и стал ждать.

Барон не ответил и даже не предложил ему сесть. Опершись локтями о стол и поддерживая ладонями подбородок, он лишь глянул на него, продолжая молчать с отсутствующим видом со вскинутой вверх седой головой.

Алиа взял пустой ящик, приставил его к столику и, убедившись в его прочности, сел.

Совсем седым был Барон. Дряблое, обветренное и загорелое лицо. Под виском — глубокий шрам, в выемке которого свободно мог бы уместиться грецкий орех...

Кофейня стояла на сваях и, подобно сужающемуся носу корабля, наполовину уходила в море. Она называлась «Чайкой». Чаек и в самом деле было много вокруг, порхающих и пищащих. Столик Барона стоял у окна, выходящего на море. Вдруг Алиа показалось, что он сидит на песке, по-восточному поджав ноги, и волны, то и дело достигающие его, уносят из-под него песок, но не в воду, а в некий песчаный колодец. То ли от того, что он не чувствовал под собой почвы, то ли от высоты, которой он боялся с детства, Алиа испытывал резь в груди... «А, может, не надо?». Неожиданное оцепенение овладело его душой и телом. Отрезвил острый морской запах. «Ведь сделан же первый и **главный** шаг! Назад дороги нет!».

— Барон, дело есть, — сказал он и посмотрел Барону в лицо.

Не так просто было поймать взгляд Барона, тем более прочесть в нем что-нибудь; глаза глубокие, лицо — холодное и настолько непроницаемое, что трудно определить — слушает он или нет. На слова тоже

скуп, особенно в последнее время. Если Барон доверял человеку, он молча шел с ним: или назначал время и всегда приносил то, что обещал. «Барон человек слова», — говорили в городе. Пожалуй, так оно и было. Раньше он сам шел на все, естественно, за хорошее вознаграждение, притом так «чисто» срабатывал, что иной раз сам заказчик начинал сомневаться — Барон ли сработал, или объект стал жертвой слепой случайности... «Работать» любил он в одиночку и, часто меняя почерк, редко попадался. Но все это было раньше, до того, до истории с падчерицей. Теперь, если и шел на «дело», то лишь на легкое и верное, не требующее лишней канители...

Алиа считал себя надежным человеком.

Они с Бароном были из одной деревни. Правда, когда он родился, Барон уже не жил там. Ему об этом рассказ Гуджа, здесь в городе. Барон был в хороших отношениях с Гуджей. Как-то он даже сказал Алиа: «Жаль, какого парня убил, сукин сын!».

— Знаю, зачем пришел! — сказал Барон, положил руки на стол и растопырил пальцы. — А сможешь? — спросил неожиданно.

— Смогу! — твердо ответил Алиа.

— Стрелять-то умеешь? — Барон пристально посмотрел ему в глаза.

Алиа явно растерялся.

— Умею, — с трудом вымолвил он после долгой паузы. — Из трех случаев два раза попаду точно... — В сердце, — хотел он добавить, но промолчал.

— Вот как! — искренне удивился Барон и забарабанил пальцами по столу. — Подумай!

— Барон, я же тебе сказал, что пришел по делу.

Чтоб подавить волнение, Алиа схватился за край стола, нервно повернул голову и сплюнул в сторону пустых ящиков. Потом уставился на почерневшие и худые кисти Барона.

Ни одного ногтя не было на его пальцах. Длинные и худые, как хворостинки, кончики пальцев были сплюснуты. Алиа слышал, что давно, лет двадцать назад, Барон присвоил деньги «зоны», и воры не простили ему этого, прихватили ему пальцы в тяжелой железной двери... Другие утверждали, будто в Одессе, в подвале

своей любовницы, он «посадил на магнит» игроков в кости, и за ночь обчистил их до нитки. То ли любовница его предала, то ли сами игроки уличили его в мошенничестве, но они вновь посетили его в том подвале, привязали к столбу и молотком пobiли пальцы. Были и такие, которые не верили ни в одно, ни в другое. Говорили, что все это сплетни, и что из Одессы он приехал «незапятнанным», и что там его помнят и чтут по сей день. Что же касается пальцев, то он их отморозил тогда, когда бежал из лагеря на «Дальнем». Как оно на самом деле было, — знает разве что сам дьявол.

Алиа отвел глаза.

— А как ты думаешь, что было в действительности? — вдруг спросил Барон, сжимая пальцы и пристально вглядываясь в них. Потом улыбнулся, отчего лицо его еще больше сморщилось.

«Старый лис... Такого не проведешь...» — подумал Алиа и смело посмотрел на него. — Знаешь, о чем я думаю, Барон?

— Стоит ли? — оскалился Барон. Во рту оголились жидкие, покрытые ржавчиной зубы.

— Барон! — всполошился Алиа.

Барон не имел права так ставить вопрос. В конце концов Алиа ведь пришел к нему «по делу», а старый лис только то и делал, что промышлял пакостями — куплей-продажей оружия, разных наркотиков. За кого он его принимает, ведь Алиа все обдумал, взвесил, он скорее умрет, чем отступится.

Накануне ночью Алиа окончательно созрел для мести, которая преследовала его и днем, и ночью, месяцами, годами — двенадцать лет подряд; теперь он уже не сомневался в себе, хотел лишь освободиться, сбросить с себя это мучительное бремя...

На рассвете, когда в окне забрезжили первые лучи солнца, он встал, подошел к двери соседней комнаты и осторожно толкнул ее.

Мать еще спала. Она овдовела рано, в двадцать три года. С трудом, без мужа, воспитала двоих сыновей и еще до убийства старшего слегла в постель. Сейчас ей было пятьдесят пять, она знала про выход из тюрьмы «змия, погубившего их семью», и, видимо, это и



было причиной того, что она сдала окончательно и почти не вставала с постели, проводя весь день на попечении какой-нибудь сердобольной соседки.

Алиа тихо вошел в комнату.

Старая железная кровать казалась пустой. Лица матери не было видно.

У Алиа кольнуло сердце. Будто пчела его укусила больно и, оставив жало, исчезла.

Он подошел к комоду и осторожно, чтобы не разбудить мать, выдвинул нижний ящик.

Он знал, где мать хранила рубашку Гуджи. Ту, белую, приталенную. Она была на нем в тот роковой день.

Алиа бережно развернул ее: две маленькие дырочки, как от гвоздей, зияли посреди черных, величиной с пятак, кругов... «Когда умру, положи рубашку мне на грудь!» — говорила мать Алиа.

Рубашка в разных местах, словно молью, была изедена кровью. Алиа почувствовал смешанный запах плесени и нафталина, пота и сырости... От прикосновения к ткани пальцы его застыли и по телу забегали мурашки...

Он украдкой глянул на кровать. Мать продолжала спать. Именно это его и встревожило, — неужели не почувствовала, что он взял рубашку Гуджи? В комнате стояла гробовая тишина. Кровать матери казалась тревожно спокойной, замершей, пустой и лишней, как некогда кровать убитого брата. Прижав к груди скотканную рубашку, он вышел в свою комнату... Здесь осторожно надел ее... Рубашка жгла спину, будто меж лопаток провели горячим утюгом, и плоть пристала к раскаленному железу... Хорошо, что это длилось мгновение, не то он изорвал бы в клочья и выбросил рубашку брата-идола.

Алиа стоял перед зеркалом. Медленно, с трудом приходил в себя. Нет, случись что угодно, но он уже не расстанется с нею, с рубашкой Гуджи. Сегодня она ему необходима, как воздух, как кровь в жилах... Он и шагу без нее на ступит, но, с другой стороны, ведь на улице нельзя в ней появляться, даже под пиджаком ее не скроешь... А выйти необходимо. В первую очередь он должен разыскать Барона и купить у него оружие.

Алиа снял рубашку, оторвал рукава, затаив дыхание, надел ее вновь, заложил воротник, поверх нее натянул другую — свою, черную, с длинными рукавами — и тихо вышел из дома.

Вот что было накануне встречи.

Алиа достает пачку «Примы», но, чувствуя, что у него дрожат пальцы, прячет ее под стол. Тут же берет себя в руки, достает сигарету, раскуривает и жадно затягивается.

— Барон... Я человек надежный, на меня можно положиться, ведь ты знаешь меня с детства. Помнишь и брата. Не был он таким, чтоб...

— Знаю, — резко прервал его Барон, посмотрев в глаза. — Гуджа был настоящим мужчиной. У него было большое будущее.

Взгляд Барона — ледяной, пронизывающий и замораживающий — умел отрезвлять.

— Тогда?..

Тут появился Рафик. Не досказав, Алиа равнодушно глянул в окно и затянулся.

Рафик поставил перед Бароном чашку кофе, вежливо поинтересовался его здоровьем и, кивнув «бывшему хозяину», исчез.

Барон не удостоил его ответом, брезгливо сплюнул на пол и потом долго облизывал нижнюю губу.

Море слегка волновалось. Волны накатывались на сваи, и Алиа показалось, будто он совсем один в открытом океане, не видно берега, до слуха доносятся лишь удары весел и собственное сердцебиение.

Ветерок донес соленый морской запах...

В окне роились чайки...

И Барон смотрел на море; молчал и думал... взвешивал своим холодным разумом нечто недоступное и непонятное Алиа...

— Барон...

— Что? — как бы извиняясь улыбнулся Барон и с шумом отхлебнул кофе.

— Коньяку не выпьешь? — глухим голосом спросил Алиа. Не это, конечно, хотел он сказать.

Молчание и странные вопросы Барона раздражали его. Он чувствовал — не выдержит, сорвется. Лишь бы

не ошибиться — подумал он и тут же украдкой провел рукой по телу, ощупывая рубашку Гуджи... Если так будет продолжаться, ему не удастся достигнуть своей цели — ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо...

— Болен я. Дважды мне оперировали желудок, — тихо, как бы про себя заговорил Барон. — Первый раз там, на Дальнем Востоке, когда мне стало плохо в карцере. Чудом спасся. Второй раз здесь... Пришлось отказаться от выпивки. Кофе и табак тоже нельзя, но никак не брошу. Единственное, что мне еще нравится, — и он грустно улыбнулся, — так вот это самое место и кофе. — Наступила пауза, за которой последовали слова: «Пошли к морю!» — И Барон встал.

Алиа отпихнул ногой ящик в угол и достал из кармана целую пригоршню скомканных бумажных денег.

— Не надо. Рафик не берет с меня денег за кофе, — сказал Барон и ехидно улыбнулся.

Актер шепнул педагогу что-то на ухо, и они украдкой глянули на Барона.

Число пьяниц увеличилось. Какой-то парень привстал, желая предложить Алиа выпить, но тот даже не посмотрел в его сторону.

Когда они вышли на улицу, Алиа увидел Джоджи, который разговаривал с какими-то незнакомцами. Алиа хотел было подойти к нему, но именно в этот момент Джоджи отвернулся и быстро зашагал по аллее...

«Неужели он меня не заметил?» — подумал Алиа и последовал за Бароном.

\* \* \*

Они спустились на пляж. Барон шел не так легко, как обычно, — высоко вскинув голову и прогнув талию. Напротив, ссутулясь, он передвигался с трудом, шаркая ногами по сухому песку, и Алиа подумал, что у него, очевидно, действительно отморожены ноги, как поговаривают в городе.

Вокруг не было ни души, лишь необъятный морской простор и длинная песчаная набережная. Они шли, слушая монотонное похрустывание песка под ногами и тихий плеск волн.

Вдруг Барон остановился. Легко, по-мальчишески подпрыгивая на одной ноге, снял ботинки, заправил в носки широкие штанины, вытряхнул из ботинок песок и, связав тесемками, перекинул их через плечо. Потом он быстро зашагал дальше, и это развеяло недавнее сомнение Алиа в том, что у него отморожены ноги.

Солнце пекло.

Шли молча, опустив головы, как обиженные.

«Куда он меня ведет?» — думал Алиа, а Барон, словно угадав его мысль, остановился, глубоко вдохнул воздух, и, подбоченившись, уставился вдаль — на покрытые зеленью склоны.

— Как прекрасна Оххамурская гора, — сказал он. — Прекрасна и величава, словно не небо повисло над ней, а она его подпирает!

Алиа смутился.

Он не понял Барона. Не знал и того, какая из гор Оххамурская, и удивленно, как ребенок, уставился на спутника.

Алиа слышал, что Барон любит читать. Некоторые утверждали, что за ночь он может проглотить толстую, как кирпич, книгу. Алиа никак не удавалось связать эту страсть с образом его жизни, так как он считал чтение преимуществом умных и порядочных людей. Хотя... ума и смекалки Барону не занимать, Алиа знал это. А Барон и вправду любил книгу, часто проводил в чтении ночи напролет (благо, времени хватало). Подчас прочитанное заставляло его задуматься, будоражило душу, открывало неведомый и чуждый ему мир... Он любил возвращаться к прочитанному, пытаясь найти в книге то, что не изведal, не пережил и не почувствовал сам... Потом, в своем кругу, он разговаривал на языке прочитанного произведения — говорил красиво и увлеченно, хоть и непонятно для слушателя...

И хотя Барон любил повторять: «чтоб тебя слушали, ты должен уметь помалкивать» (эта неплохая сама по себе мысль была итогом его долгих размышлений, опыта и скитания из города в город), на него, бывало, находило, и он начинал говорить, и слова подбирал нужные. И неизменно достигал успеха.

— По весне, когда становится тепло и природа пробуждается, вороны покидают эти места. Зима их

вынуждает кружиться над селами, они же любят лес... Вот и мы так, люди, склоняем наши головы там, где лучше... — Барон задумчиво провел рукой по лбу. Если идти вдоль берега, то за сутки можно добраться до моей деревни. А напрямик, — он указал рукой на горы, — еще раньше. Бывало, я и за ночь приходил... Правда, когда это было... И море там близко. — Он посмотрел на Алиа. — Там и сегодня живет ваша родня...

— Знаю, — сказал Алиа и неловко переступил с ноги на ногу.

— Ведь и сам ты оттуда...

— Да.

\* \* \*

Действительно, деревня Барона была близко; перевалив через пару гор, вы попадали в нее.

Звали его Джани. Бароном он стал позже, после того, как сбежал из дому. Так его окрестили далеко отсюда, в чужом городе, люди иного племени и убеждений. Сегодня все его знали как Барона. Даже те, которые ни разу его не видели. «Барон сказал...», или «И Барон там был» часто можно было услышать в городе. Он и сам забыл свое настоящее имя. Если что и связывало его с детством, то это — имя Джани, хотя так смутно и блекло, словно Джани был одним человеком, а Барон — другим. Услыхав имя «Джани», Барон смущался, словно оно принадлежало не ему... А прозвище нравилось. Он даже гордился им. Изящно склонив голову и приложив руку к груди, он произносил — «Барон». Так он представлялся даме, начинающему вору и прибывшему из другого города гостю... Бог весть что было общего у этого титула с его происхождением, поведением, нравом и талантом. Но, видно, что-то все-таки было, раз он был так назван уже в возрасте, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы, там, за девятью замками, «видавшими виды» людьми, недоверчивыми и суровыми, отчаянными и храбрыми, знающими толк в подобных вещах.

Всего несколько домов стояло в деревушке Джани, в основном двух фамилий — Беришвили и Гегия. Преобладал род Гегия, что отнюдь не ущемляло Беришвили. Бывало, из-за простой детской ссоры они шли друг на друга, случались и поножовщины... Но недолго дли-

лись вражда и переполох. Бок о бок жили Гегия и Бершвили и были хорошими соседями.

С трех сторон деревню обступали горы, покрытые вечнозелеными деревьями и кустарником. Зима здесь была суровой; снег лежал до середины марта. Иногда в морозную зимнюю ночь на деревню нападали голодные волки. Они окружали какую-нибудь усадьбу на отшибе и всю ночь выли или рыскали в поисках добычи, если, конечно, хозяева не отпугивали выстрелами непрошенных гостей... В деревне было много собак, в некоторых домах держали по две собаки. Но при появлении волков собак первых охватывал ужас и они начинали лаять, но жалобно и не покидая хозяйской оды<sup>1</sup>, и оживлялись лишь тогда, когда волков и след простывал.

Море было недалеко от деревни, всего в двенадцати километрах.

С морем Барона связывало воспоминание, которое живо хранилось в его памяти, и, хотел он того или нет, в каком бы уголке страны ни жил, всегда преследовало его, заставляя хоть на миг оглянуться назад, в детство...

В разгар лета, в знойный безветренный день Гера увозил на арбе свое многочисленное семейство к морю, купаться. Мыло везла мать, всю дорогу прижимая его к груди, как драгоценный груз. Потом, уже прибыв на место, она собственноручно, по старшинству, намыливала детей.

Морская вода почему-то не смывала мыльную пену, и это удивляло маленького Джани. Но и речка была рядом — холодная и прозрачная Галидзга, на дне которой можно было пересчитать все камушки. Дети плевались в ней, тщательно растирая тела. Потом сломя голову с криком и визгом бежали к морю и бросались в пенистые волны... Никто уже не помнил о еде и о дальнем и нудном пути, который предстояло проделать до дому...

Когда дневной зной спадал, солнце погружалось в море, оставляя на западе багряный отлив. На морской глади сверкала длинная и прямая тропинка, которая, покачиваясь, отдалялась на запад и вот-вот должна была исчезнуть. Тогда-то дети, покрытые гусиной кожей и

<sup>1</sup> Деревянный дом в Западной Грузии.

посиневшие (вдобавок, как назло, появлялись еще и комары), вспоминали про обратный путь и голод... О, как прав был отец, говоривший, что «вода нагоняет аппетит...»

И сумерки на побережье были необычными. Вдруг все — и суша и море — окутывалось туманом, и тогда казалось, что в этом болотного цвета мареве плывет весь мир. Позже, уже покинув деревню, Барон часто вспоминал и этот печальный закат, и наступление сумерек, но так, словно это ему приснилось, словно об этом ему рассказал кто-то другой...

Семья была большой — пять братьев и две сестры — и, конечно, не всех могла уместить их одноупряжная арба. Кроме самого младшего — Тулия, сестер и матери (отец всегда шел перед волом), пешком семенили братья...

Впереди шел отец, а Джани замыкал шествие. Плелся босой, одиноко, в мокрых трусах и порванной рубашке с плеча брата. Шел, то и дело взмахивая рукой и отгонял назойливых комаров.

Ночь застигала в пути...

Ленивое поскрипывание колес вторило кваканью лягушек и треску цикад. Джани казалось, что все вокруг, в том числе и сама ночь, попало под эти колеса. Позже, приближаясь к деревне, когда виднелись огни и явственно слышался лай собак, отец заводил какую-то бессловесную и унылую песню... Напев тот очень напоминал плач и был как нельзя под стать здешним небу и земле. Песня эта была неотъемлемой частью окружения — тревожного, теплого и потаенного... Видно, она, как и сама земля эта, была древней, вернее, принадлежала их дальнему предку, потому и была такой близкой и родной, как воспоминание о детском тепле, глубоко отложившемся в человеческой душе... Вечернее безмолвие, багряный горизонт, треск цикад и поскрипывание арбы — все это дорого человеку этих мест...

Душа и тело его отмечены печатью этого климата, природы этой, и лишь здесь он может жить — под этим небом, на этой земле, в трудах и заботах проводить свои дни, а потом тут же обрести могильный холм...

Рано осиротел Джани.

Ему было одиннадцать, когда на их семью обрушилось несчастье.

Обвинив двоюродного брата в краже дров, Гера Гегия, напившись, ранил несчастного Каджиа в плечо. Брат не стал жаловаться властям. Он ответил своему: поставил икону, забил в вековой дуб на глазах у всей деревни два больших, величиной с пядь, и семь тонких, с большой палец, гвоздей, девять раз обошел дуб на коленях и навеки проклял Геру вкупе с потомством.

Испугался Гера. Направил к Каджиа посредника, однофамильца, восьмидесятилетнего слепца с белоснежной бородой. Извинялся, взывал к милосердию и родственным чувствам, молил снять проклятие в обмен на стельную корову. Он созвал родственников и соседей и на глазах у всех стал бить прикладом ружья по ореховому дереву до тех пор, пока у него в руках не остался лишь ствол.

Отказался Каджиа. Не стал снимать проклятия. Нельзя, дескать, гневить икону из-за дохлой коровы. Пусть свершится божье правосудие.

Это было в конце октября.

А за неделю до рождества, холодным слякотным утром, Гере пришлось идти в лес. Он впряг в арбу вола, оделся потеплее и двинулся в путь.

Шел мелкий снег.

Когда Гера достиг леса, снег уже сыпал крупными хлопьями, и он с трудом различал аробную колею. Говоря по правде, что можно нарубить в такое время?.. Да сырая, только что срубленная ольха и не пригодна для очага. И Гера решил взять немного дров из заготовленных летом семейством Беришвили в надежде на то, что идет снег и этого никто не заметит. Он нагрузил пол арбы, потом срубил под корень несколько молодых ольховых деревьев, навалил их поверх краденого и лишь тогда заметил, что слишком углубился в лес.

Незаметно наступил вечер. И тут он увидел волка.

Волк был один. Прижавшись к земле, как старый испуганный шакал, он пятился назад... Гера крепко сжал топор, так крепко, что холодный пот увлажнил топорнице, и стал погонять вола...

Но ни нервность Геры, ни страх перед волками и наступающей темнотой не могли заставить идти быстрее старого вола.

«Хоть бы из лесу выйти поскорее...» — подумал Гера,



но понимал, что надежда эта напрасна... Об этом следовало думать тогда, когда он присваивал чужое добро или рубил под корень ольху и искал в снегу гнилой, разбухший от влаги хворост. Он все крепче сжимал топор остывшими пальцами и неустанно бил вола, то и дело оглядываясь назад...

Арба остановилась. Вернее, вдруг вол как бы провалился в яму.

— Будь ты неладен! — крикнул Гера и замахнулся.

Но прут застыл в воздухе... Гера оцепенел.

В каких-то двадцати шагах от него, образовав в снегу полукруг, поджидала его волчья стая.

Прут выпал из рук Геры. Он скинул башлык, словно ему стало жарко, и застыл...

Запах смерти учуял Гера. Запах этот, как теплый и шероховатый язык собаки, облизал ему лицо. Потом Гера проглотил горький яд этого испуга, проглотил, как слюну, и поднялся. Не так просто уступит он свою жизнь, если за поворотом его будет подкарауливать столько же волков, он будет драться до последнего вздоха.

Он перенес топор в правую руку, сжал его поудобнее. Потом выдернул из дров сырую, толстую и крепкую палку, схватил ее свободной рукой, занес топор и задержал его на уровне плеча...

— На тебя падет грех, Каджиа! — процедил он сквозь зубы и застыл в ожидании нападения.

Но волки не спешили. Собралось их много, они загодя отрезали путь своей жертве и сейчас, как бы ожидая какого-то сигнала, спокойно сидели в снегу...

На третий день крестьяне привезли в деревню полную дров и покрытую заледенелым снегом арбу Геры. Привезли и всё то, что осталось от него: полмешка обмороженных пожелтевших костей, обглоданный череп, топор и серый башлык... Естественно, и вола постигла та же участь. Еще крестьяне видели волчий череп с разбитой челюстью и какие-то кости. Видно, одного из волков настиг топор Геры, а голодная свора не пожалела своего сородича...

Человек умер вне дома, и, как того требовал обычай, его душу должны были вернуть в семью с помощью ниток.

Послали нарочного в район с поручением привезти сорок катушек белых ниток.

Ранним утром отправились в лес Тада Беришвили и старший сын Геры Гогиа, вооруженные ружьями, прихватив с собой четверых женщин, игравших на чонгури.

Под вечер в деревню прибежал запыхавшийся Гогиа, сказал, что им не хватило ниток, и соседки собрали ему еще несколько катушек.

Вскоре показалась и сама процессия. Впереди шли сестры Булия; одна из них играла на чонгури, остальные пели «Ваи, скани цода, нана» и причитали. За ними с непокрытой головой шел Тада Беришвили, мрачный, как туча, разматывая на ходу катушку, надетую на гвоздь. Так к своему дому приближалась душа Геры Гегия...

Гогиа шел за Тадой и поддерживал ладонью нить, а если она все же обрывалась, процессия останавливалась, звуки чонгури и песня внезапно обрывались, и Гогиа связывал концы нити... Так готовили Геру к загробной жизни. Но сперва надлежало привести его душу в собственную семью под скорбные звуки «Ваи, скани цода, нана», стенания и плач.

Оплакивали всей семьей кости Геры, покрытые его выходными брюками и сатиновой блузой. Могилу вырыли обычную, и гроб выстругали такой, какой подобает покойнику-христианину.

Испугался Каджиа... Не столько смерть Геры его потрясла, сколько страх перед иконой. Он верил, что, завершив свое дело, она возьмется за него... Конечно, Геру ему было жаль. Не мог он желать ему такой участи, как-никак они были двоюродными братьями и росли вместе. Недолго думая, он направил к вдове усопшего достойных людей из рода Беришвили с просьбой разрешить ему оплакать любимого брата.

Вдова приняла просьбу Каджиа. Конечно, не его слез ждала она, а пеклась о детях, боясь, как бы икона не взялась за них. Ей не давали покоя те семь гвоздей, которые Каджиа забил в дуб на глазах у всей деревни.

Горючими слезами оплакивала семья Каджиа Геру. Сам Каджиа, ударяя кулаком в грудь, громко причитал о трагической судьбе брата, о несчастье, постигшем их семью и род, но он умышленно не упоминал про икону. В день похорон, облачившись в траур и повязав чер-

ной лентой голову, он стоял у гроба и принимал соболезнования... Лишь восьмидесятилетний Така Гергия прошел мимо него равнодушно. Можно ли требовать от слепца внимания, но он не пропустил никого, даже самому младшему — Тулия высказал соболезнование, ласково погладив по голове. Потом целую неделю дулся Каджиа на Таку. Что ему не понравилось?! Ведь за день до похорон Каджиа выдернул поодиночке из дуба все гвозди, потом, для большей верности, вовсе срубил его под корень, будто в нем была причина зла, и заявил во всеуслышание, что даже на дрова не употребит его.

Джани было тогда одиннадцать лет.

Правда, помирились их семьи, но он все же терпеть не мог дядю, его детей и жену. Он избегал их, на ружейный выстрел обходил их усадьбу.

Да и Каджиа не искал с ним встречи. Этот хилый малец так смотрел на него, что по его телу пробегали мурашки...

«Дурные у мальчонки глаза», — ворчал Каджиа и сплевывал три раза за спину. Никак не мог он избавиться от этого страха, а со временем даже мысль о Джани ужасала его.

Потом и Джани, чувствуя это, стал в день по два раза ходить мимо усадьбы дяди. По дороге в школу он замедлял шаг, поровнявшись с домом Каджиа, заглядывал во двор, медленно водил взором по колючей изгороди, тщательно осматривал все, пока не находил возившегося у хлева или в бахче родственника, и лишь потом ускорял шаг. Каджиа было достаточно этого. Стоило ему заметить Джани, как он тут же прятался в оде или за деревом. Однажды, первым заметив его, он даже зашел в сортир без всякой нужды и долго стоял в нем.

То ли икона взялась за него, то ли Джани его сглазил, но и Каджиа не суждено было долго жить.

Полтора года спустя после гибели Геры его ужалила гадюка.

Мал был ростом Каджиа, мал и кривоног. У него было землистого цвета всегда небритое лицо с впалыми скулами и продолговатым подбородком; отвислые, как у ржавой воронки, уши и сплюснутый, как спаржа, нос.

Сельский брадобрей, пьяница и балагур Туму Пипия говорил, что между его ног свободно может пройти гусь с раскрытыми крыльями. И вправду, Каджиа ходил так смешно и криво, как хромым на обе ноги. Кому-кому, но не цирюльнику же смеяться над Каджиа. Но такой был характер у Туму, он и себя не щадил. У брадобрея было тринадцать душ детей, и все они зимой и летом ходили босыми. Когда Туму спрашивали, зачем он наплодил столько детей, он шутил, что не остановился бы и на чертовой дюжине, но трудно усыпить тринадцать детей, просыпается то один, то другой, и им с женой приходится воздерживаться... Между прочим, заключал Туму, в отличие от некоторых (все знали, что он намекал на Каджиа), он не польстился на приданое.

Каджиа было сорок. Жена, которую сосватали ему в соседней деревне, была лет на шесть старше. Приземистая, согнутая в плечах, она вместе с тем была удивительно проворная и расторопная.

Бедняком был Каджиа, вот и позарился на приданое жены. Зато, несмотря на выпады некоторых, вроде Туму, теперь жил неплохо. У него стояла красивая, покрытая красной черепицей трехкомнатная ода с кухней, и дети у него были одеты не хуже других. Осенью Каджиа собирался ставить новую кухню взамен старой, отцовской. Так, видимо, он и поступил бы, если б не это несчастье...

Солнечным летним утром Каджиа спешил в лес за материалом для новой кухни. Сперва он собирался заготовить в лесу бревна, потом с помощью какого-нибудь соседа привезти их на волах домой и распилить на дворе. Не в духе был Каджиа, почему-то не радовало его исполнение своей давнишней мечты. С утра у него расстроился желудок, и, может, это и было причиной. Он даже хотел вернуться, отложить дело на завтра, но потом, решив, что это дурная примета, пошел дальше, размахивая хорошо наточенным топором. Частенько его беспокоил живот. Отбросив в сторону топор, он хватался обеими руками за опояску и отбегал в кусты... И вот, когда он в очередной раз опустил на корточки... он наступил на змею. Взвилась змея, вскинула голову и ужалила пригнувшегося Каджиа меж ног, пониже срамного места...

Взревел Каджиа...

Бросился бежать со спущенными штанами...

Час с лишним бежал без отдыха, руками придерживая штаны. Как назло, у собственных ворот он заметил Джани. Сощурился, глаза, он с любопытством смотрел на него. Каджиа, словно его ужалил не гад, а Джани, с криком «Господи!» навалился на калитку. Штаны соскользнули с него, он запутался в них и растянулся на земле.

Выбежала на двор жена Каджиа. Увидев мужа в таком положении, она подумала, что он с ума сошел, и стала причитать, царапать щеки. Вмиг сбежалась вся деревня.

Каджиа только и успел сказать, что с ним произошло, и потерял сознание.

Соседские мужики внесли его в дом, раздели, сменили на нем белье и уложили в чистую постель...

«Разве что заговор Дгебуадзе ему поможет, — сказал Така Гегия, пошарив по траве палкой. — Пошлите за ней Джани. Этот пацан и конного опередит, если пойдет напрямик», — добавил он.

Джани послали в соседнюю деревню за известной знахаркой Дгебуадзе.

Он бросился бежать сломя голову через кустарник, исцарапался с ног до головы. Мигом пробежал полпути. Потом вдруг остановился, оглянулся вокруг, словно задумавшись — куда и зачем бежит... Опустился на травку, поджал под себя ноги. Он вспомнил, как мать денно и ночью ругала Каджиа, погубившего их семью, его чертовку жену и детей, и обрадовался, что вовремя спохватился...

Джани потянулся, потом развалился в траве... Стал прислушиваться к звукам леса, шелесту листьев; заметил в траве красногрудую птаху и, мысленно измерив расстояние, отделяющее ее от него, подумал, что, может, даже поймает ее...

Уже смеркалось, когда он вернулся в деревню.

— Больна Дгебуадзе, — с трудом переводя дыхание, пробормотал он и, словно боясь, как бы ему не стали задавать лишних вопросов, поспешно ушел со двора.

Между тем у Каджиа поднялась температура, он бредил, то и дело поминая змею и Джани... Место укуса у него распухло...

На рассвете мужики привезли другую знахарку —

согнутую в три погибели костлявую восьмидесятилетнюю бабу. Узнав, куда змея ужалила больного, она отказалась его лечить, так как была незамужней и знала, что от роду не видела голого ниже пояса мужчину. Как только ее ни уговаривали, обещали хорошо вознаградить — прибавить к одному пуду кукурузной муки другой и еще пару петушков, но она и слушать не хотела. Опять Така выручил. Он уединился со знахаркой и через пару минут уговорил ее.

Старуха растворила в воде серу, не спеша посыпала раствор порохом, как серебряной пылью, смешала все ложкой, стала смазывать место укуса, приговаривая: «Красная змея, черная змея, паук и скорпион... Я зелье от ста разных укусов... Укусивший да умрет, Каджиа — исцелится...».

Она трижды повторила заговор, потом смазала больного еще какими-то травами и велела завернуть его в простыню, пропитанную пахтаньем. Видно, с самого начала знахарка не очень надеялась на успех, так как предупредила близких Каджиа, что ее привезли очень поздно, но она сделает все от нее зависящее.

На третий день, когда стало ясно, что Каджиа не жилец на свете, старуха взяла лишь четверть платы — полпуда кукурузной муки и попросила отвезти ее домой на арбе. Отвезти ее не смогли, но хозяйка в придачу к муке добавила трехмесячного петушка. Знахарка не обиделась, только пожелала, чтоб какой-нибудь ребенок проводил ее до края деревни.

Кликнули Джани.

Когда они выходили из ворот, Така окликнул старуху, подал палкой Джани знак отойти в сторонку и тихо шепнул знахарке, прижимавшей к груди петушка: «Ну что, поглядела «то» место?» — и лукаво провел пальцем по усам.

Старуха так и осталась с разинутым ртом...

Спохватившись, прижала ко рту свободную руку и, возмущенная словами Таки, стала озираться вокруг — не слышал ли кто. Потом, успокоившись, процедила сквозь зубы: «Чтоб тебе пусто было, Такайя. Таким же бесстыжим остался, каким был!» — и, прикрывая концом платка лицо, покинула двор.

Через неделю Каджиа скончался.

Возобновилась вражда между родственниками.

Не унималась вдова Каджиа, грозилась босой отправиться в церковь. А пока что пошла с молотком и горстью гвоздей к фиговому дереву, что росло у развалин деревенской церкви, и навеки прокляла Джани и всех потомков и близких Геры Гегия... Удивлялись в деревне, как она могла так жестоко поступить с племянниками мужа. Но вскоре узнали, что Джани не ходил к Дгебуадзе, и все стали обвинять его в смерти дяди. Хотя и о том стало известно, что в тот день знахарка действительно болела и ничем не могла помочь Каджиа. Но поступок Джани все же не имел оправдания (особенно возмущался Така Гегия, твердил, что исполосует своей палкой сорванцу спину).

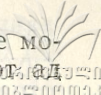
\* \* \*

Младшие братья Барона по сей день жили в деревне. Двое старших пропали без вести во время войны. Барон считал их погибшими, и, скорее всего, так оно и было. Братья же — потерянными... Им казалось, что, как и Барон, они живут где-то на чужбине. Не было сведений, подтверждавших их гибель, и братья не теряли надежды, что рано или поздно увидят своих близких, как живых, вспоминали их за столом. Сестры были замужем в соседних деревнях.

Братья Барона жили неподалеку от старой отцовской усадьбы в собственноручно выстроенных одах. Старый, с развалившейся лестницей, прогнивший дом, был заколочен на случай, если вернется кто-нибудь из братьев.

У них было много детей и внуков. С потомками Каджиа они давно помирились, освободились от гнета иконы... В деревне знали про Джани. Его побаивались не только кроткие как овечки наследники бедняги Каджиа, но и те, кто никогда его не видел. Но братьям, Георгию и Тулия, не было до него дела. Они были крестьянами, простыми работающими людьми и больше всего на свете любили свой клочок земли, свою деревню. Это была неосознанная любовь, но такая же сильная и неподдельная, как сама деревня, земля...

Земля их кормила. От нее зависело их благополучие, и они уповали на нее, взирали с надеждой. Она была их родиной, их ангелом-хранителем. На ней жили все их враги и близкие. Глубоко в эту землю были пу-



щены корни обеих семей Гегия, и ничто на свете не могло их заставить уйти с этой земли, покинуть этот сад и рай.

Таковую же долю уготовил бог их сыновьям. Они не смотрели дальше своей усадьбы, лишь жен приводили из соседних деревень. Свадебные приготовления длились весь год. В воскресенье, базарный день, все вместе отправлялись в районный центр; мужчины продавали скот и кукурузу, женщины — сыр и кур. Возвращались с целыми горами ваты и мануфактуры, новой одежды, с мешками, полными городского хлеба, печенья и сладостей.

И сегодня, летом, как и в детстве Джани, в жаркий день обе семьи Гегия отправились к морю; но не на арбе (да и в какой арбе они уместились бы!), а на колхозном грузовике или тракторе с прицепом для перевозки сена, которым управлял младший сын Тулия, прозванный в честь дяди — Джани. Садились все, и стар и млад, и с песнями и веселыми возгласами отправлялись купаться.

Они жили в деревне, любили труд и не брезговали никаким занятием: были землепашцами и плотниками, печниками и шоферами. Любили и ненавидели, радовались и печалились, имели друзей и недругов... Трудясь с утра до вечера на колхозных полях или приусадебных участках, они с наступлением темноты собирались все вместе за столом у одного из братьев. Застолье у них бывало веселое и песни славные. Печальные звуки «Ваи шуриса» и «Челы» постепенно нарастали, распространяясь по округе, а потом так же неожиданно угасали, да так, что трудно было понять — песня это или вопль людей, отмеченных печатью изнурительного труда... Действительно, какова была их доля?! Мозолистые руки и страдальческие лица указывали на то, что жизнь их безрадостна. Но так могло показаться только со стороны; сами же они не жаловались на судьбу.

Джани с детства был другим. Не было у него ничего общего с братьями. Еще тогда, когда он был совсем маленьким, видно было, что он никак не привыкнет к деревенской жизни... Все это чувствовали: родители, братья и сестры. Когда его обижали, Джани карабкался на старое ореховое дерево, растущее во дворе, и сидел на нем, надутый, весь день, Ни просьбы не имели



на него воздействия, ни угрозы... Если его пытались спустить силой, он забирался на самую верхушку и, страшась, как бы он не упал и не разбился, его оставляли в покое. Однажды он просидел на дереве всю ночь.

Тогда, пожалуй, и сам Джани не смог бы объяснить, почему его не тянуло играть с братьями и сестрами, по какой причине не мог он сойтись с товарищами по школе и соседями. Но, видно, он и не думал об этом, просто ему было неинтересно с ними, и все.

Джани было пятнадцать, когда он покинул деревню. Вернее, не покинул, а удрал из нее... Удрал, как неприемлющий жизнь своего племени предатель-цыган. Две ночи шел по морскому берегу. Днем отсыпался в лесу, забравшись на дерево и накрепко к нему привязавшись, чтоб не стать, как отец, добычей волков. Наконец он пришел в этот город. Впрочем, здесь он обосновался намного позже, семнадцать лет спустя, а тогда, когда он впервые попал сюда, опасался, как бы его не нашли и не вернули домой старшие братья. Почти неделю он скитался по улицам, потом проник тайком на какое-то судно и через три дня прибыл в Одессу. Город с нескончаемой набережной, высокими зданиями из коричневого камня, каштановыми аллеями и парками сразу понравился ему. Не столько красота города и жажда знаний, сколько сознание того, что в этом новом и чужом мире ему будет житья лучше, надолго задержали Джани в Одессе. В то время в Одессе не так уж и просто было жить, как ему показалось вначале. Сперва ему не повезло. Он угодил в тюрьму на небольшой срок из-за пустякового, почти смешного дела. Но Джани успокаивал себя тем, что был «зеленым» — молодым и неопытным. Второй раз — уже девять лет он отбывал на Дальнем Востоке. Многие повидал и испытал там Джани... Наконец сердце потянуло его в этот уютный и чистый приморский городок. Вернулся он не для того, чтоб наслаждаться дующим с родных гор и полей ветерком или почаще навещать престарелую мать, братьев и сестер, и не потому, что земля, на которой он должен был окончательно обосноваться, была родной...

Там, на севере, ему пришлось туго. Зима была суровая, девять месяцев в году лежал снег. Солнце почти

не выглядывало из-за свинцовых туч, а если и появлялось изредка, то еще хуже — огромные, с большой палец, комары принимались роиться и кусаться, да так, что невольно приходилось мечтать о зиме.

И работа была тяжелой и изнурительной, как зима.

Весь день приходилось валить лес, держать в окочевших руках топор и пилу...

Ни лесу не было конца, ни земля не проглядывала из-под белого и сверкающего снежного покрова. Деревья росли такие прямые и высокие, что как бы ни глядел на них человек, закидывая назад голову, верхушки невозможно было увидеть. И неба не было видно, только обрывки, запутанные в ветвях...

На рассвете заключенных вели на работу. Шли строем по снегу и морозу километров десять-двенадцать... В полдень давали обед, прямо в лесу — горький, тошнотворный отвар с жиром, кусок черствого хлеба и головку чеснока на троих как лекарство, которым осужденные натирали десны.

С наступлением темноты вооруженный винтовками конвой вел заключенных обратно. Плелись усталые и изможденные, продрогшие до костей зэки и мечтали о твердых, как камень, нарах и мутной, чем-то напоминавшей чай, жидкости.

Как-то раз после окончания работы, перед тем, как двинуться в лагерь, заключенным разрешили развести в снегу костер. Тепло огня нагнало дрему на уставших мужчин. Ветер то и дело задувал огонь, и тогда дым поднимался не вверх, а стелился по земле, как бы умышленно обжигая зэкам глаза.

Накануне зэки раздобыли мешок картошки. Половину отдали конвою, а оставшуюся закидали в огонь. Каждому досталось по две-три картофелины. Одна картошка откатилась в сторону, и Барон незаметно для других положил ее в карман ватника. Отойдя от костра, он соскреб с подгнившего березового бревна снег и шел. Засунув руку в карман ватника, он сжал горячую картофелину в ладони и почувствовал, как потрескалась ее кожура...

Он быстро достал из кармана руку.

Тогда он впервые проклял свою судьбу и зарекся, что если ему удастся выбраться, он заживет иначе... Ну, скажем, научится печь хлеб. Вернее, всю свою

жизнь будет печь хлеб, повиснув в тонэ<sup>1</sup> вниз головой, лишь бы оказаться на воле... Он мечтал уснуть в тепле на мешках муки и проснуться, вдыхая запах свежевыпеченного хлеба... Ни о чем другом не помышлял тогда Барон, кроме этого теплого, животворного хлебного аромата, нескольких саженцев изабеллы<sup>2</sup>, солнца и луны родимого края... Вспомнились ода и узкий балкон с баясинами, с которого он впервые увидел небо, землю, деревья, кусты и траву... Он не променял бы грязный проселок родной деревушки на весь мир. Ведь то, о чем он мечтал тогда, в холодной тайге,—это жизнь—спокойная, честная и порядочная, а главное — вечная, как луна, солнце и лоза... Но тогда все это больше походило на сказку. Из лагеря проще было попасть в рай, чем на волю.

«Барон!».

Услышал он зов.

«Эгей, Барон!».

Лес подхватил его имя.

Он пришел в себя.

Быстро облизнул обожженную ладонь и подал голос. Зэки возвращались в лагерь.

Зима все не кончалась. Стоял мороз, и выли колючие ветры. Как бы тепло ни одевался человек, мороз пронизывал его насквозь, проникая в плоть и кости, отмораживая лицо, уши и пальцы. Время как бы застыло, лежало неподвижно и бездыханно, как замерзшая туша исполинского кита.

Из лагеря пытались бежать. Одних томил голод, других — мороз... Кого-то заставляла совершить побег жажда свободы, других влекли новые грехи и преступления или опасение, что какой-нибудь зэк пырнет ножом или раскроит топором череп...

Но главной причиной все-таки был режим, господствовавший в лагерях. Невыносимый, как мороз, он сдавливал тисками горло, душил...

У беглеца почти не было шансов. Об «отчаянных», а чаще о их гибели, вскоре узнавали заключенные и, взбудораженные, долго обсуждали событие. Иногда беглецы возвращались сами; в двух случаях из трех им

---

<sup>1</sup> Тонэ (груз.) — печь для выпечки хлеба.

<sup>2</sup> Изабелла — сорт лозы.

не удавалось пройти тайгу, они отчаивались от голода, мороза, нескончаемого пути, комаров и предчувствия предательства... Проклиная свой глупый шаг, из страха попасть в более тяжелые условия и получить дополнительный срок они возвращались, жалкие и сломленные. Других же, как правило, перехватывала у железной дороги или находила у местных жителей специальная группа, ведущая поиск с огромными овчарками. Беглецов в наручниках привозили в лагерь.

Но были и удачные побеги, вселявшие в эков надежду. И тогда сколачивалась новая группа.

К концу мая, когда солнце выглянуло из-за свинцовых облаков и в тайге местами растаял снег и появились комары, решил бежать и Барон. Он открылся одному чеченцу, считая его самым надежным и стойким. Чеченец был осужден на восемнадцать лет. Он с радостью принял план Барона, но с условием, что они убегут вдвоем.

К побегу готовились почти месяц. Собрали хлеба и чеснока дней на восемь-десять, назначили день... То ли сердце его почуяло неладное, то ли еще что, но в самый последний момент Барон отступил, отверг сотни раз взвешенный и обговоренный план. Он предчувствовал, что не сможет выбраться на свободу, погибнет в дремучей тайге, станет добычей волков или собак или же ему прострелит череп конвой...

Но чеченец был тверд в своем решении и на десятый день после их размолвки, бежал вместе со своим земляком, пареньком, осужденным на пять лет.

Через три дня в тайге верст за сто от лагеря нашли труп парня. Он был сброшен в овраг и засыпан снегом. На спине трупа зияли три одинаковые, как от вил, раны. Убив товарища из-за пары фунтов хлеба и чеснока, чеченец ушел один...

«Ничего, его скоро приволокут»,—негодовали взбешенные предательством чеченца эки. В лагере, в котором сидели отъявленные преступники, трудно было кого-то удивить убийством, но даже самые отпетые из них не могли пойти на такую подлость — убийство товарища во время побега. Лагерь с нетерпением ждал захвата беглеца. Но не оправдались ожидания эков. Он как в воду канул, и никто так и не узнал—звери его растерзали, от голода он погиб или побег ему удался.

После этого Барон довольно долго не мог оправиться. Им одновременно владели ужас и радость от сознания того, что он своевременно учуял опасность. Труп зверски убитого парня был выставлен на всеобщее обозрение. Видно, начальству этим хотелось показать, какими бывают беспощадными друг к другу зэки. Всю ту ночь Барон провел в молитвах и поклялся поставить в Илори свечку, если ему удастся выйти из лагеря живым.

А время шло.

Барон полностью отбыл свой срок — девять лет. Двое конвойных отвезли его на санях до ближайшей станции, где он полтора суток ждал поезда и, наконец, уехал. Мечта его стать пекарем в родной деревне так и осталась мечтой. Недолго думая, он направился в Одессу.

Позже Барон покинул Одессу и вместе с красавицей женой и пятилетней падчерицей обосновался в этом городке, из которого (если не считать тех трех лет, проведенных в тюрьме из-за соседа) уже никуда не отлучался.

В городе поговаривали, что Барона все еще помнят в Одессе. Сам Барон знал про эти разговоры, но не верил в них. Кто его мог там помнить спустя столько лет?! Но ему все же было приятно это слышать. За восемь лет, проведенных в Одессе, у Барона не осталось ни одного друга или знакомого, о которых ему хотелось бы вспомнить. Хотя это не мешало ему порой при свидетелях говорить театральным тоном: «Там, на Дерибасовской... Что и говорить. Одного Аркаши достаточно... Кто не слышал песен Аркаши Северного, тот не знает Одессу». Всех интересовало — кем был Аркаша Северный, а Барон, как бы разжигая интерес слушателей, отмалчивался, задумчиво устремляя взор вдаль... Одних раздражали его рассказы, другие смотрели на него с недоверием, но никто не осмеливался сказать ему об этом в лицо. Только Гуджа однажды вскочил и, прервав его на полуслове, ушел. Тогда Барон не среагировал на это, только грустно улыбнулся и перевел разговор на другую тему. С тех пор редко виделись они с Гуджей. Одессу же в то время действительно трудно было удивить. Каким сильным, ловким и по-своему одаренным надлежало быть человеку для того,

чтоб прожить в этом «море темных людей»! На каждом шагу человека подстерегала опасность. Следовало постоянно быть начеку, чтоб сохранить на плечах голову. И здесь, как и в том северном лагере, действовал закон джунглей — кто кого. На каждом шагу нужно было остерегаться, ждать предательства, подвоха. В этом мире человеку надлежало быть беспощадным, сильным и твердым... В Одессе, как и в лагере, из которого Барон собирался бежать вместе с чеченцем, сердце подсказало ему верное решение. Здесь ему и вспомнился тихий приморский городок из детства. Дни, проведенные в нем после бегства из деревни, глубоко врезались в его память. Сперва город лишь снился ему по ночам, а потом он уже стал постоянно о нем думать. Барон чувствовал, что там его ждет более легкая жизнь, чем в «Одессе-маме». Ведь Одесса была для него мачехой, и он, как пасынок, все время норовил убежать от нее, вырваться туда, где человек его размаха и жизненного опыта будет чувствовать себя вольготно.

\* \* \*

**Б**арон считал: если женщина не любит мужчину, она должна его бояться.

Молодой была Аида, красивой и страстной. Ей было хорошо с Бароном, поэтому она и поехала с ним в этот чужой для нее город, к которому она так и не смогла привыкнуть. Спустя какое-то время Аида стала равнодушна к мужу. Что же до страха, то она довольно долго испытывала его, но в один прекрасный день почувствовала, что ее прежний страх исчез вслед за любовью... Еще до того, пока сам Барон сумел разобратся — был ли он когда-либо опасным для кого-нибудь человеком, Аида чутьем или шестым чувством поняла, что Барона можно не бояться, и теперь с улыбкой вспоминала свой прежний страх. А не уходила от него потому, что не хотела лишних неприятностей, к тому же была уже не молода. Женщине же нужен мужчина. Не просто мужчина, а опора, кормилец и заступник, с которым она могла бы делить ложе... С возрастом человек все больше нуждается в уюте, боится одиночества.

Падчерице Барона было уже двадцать три года. Это

была стройная, высокогрудая девица с загорелым лицом, с волосами цвета спелой ржи.

Она поздно возвращалась домой, разъезжала в легковых автомобилях с какими-то типами. Барону не нравилось ее поведение, но он делал вид, что ничего не замечает.

Раньше он даже любил ее — она была красивой, шаловливой и ласковой девочкой. Потом детская чистота стала исчезать, постепенно грубела, и Барон стал смотреть на нее, как на чужую.

Взгляд у нее стал другим — хищным, наглым и коварным. Возможно, из любви к той прежней девочке Барона раздражало, даже огорчало ее поведение. Но он не вмешивался в жизнь падчерицы.

Как-то ему пришлось отлучиться на несколько дней.

Он часто уезжал на два-три дня, а то и на неделю, и никогда ни перед кем не отчитывался. Когда он брал свою черную сумку (некогда украденную в Одессе у интуриста), жена и падчерица знали, что он уезжает на «дело».

Вернулся Барон в полночь, усталый и изнуренный. Мечтая поскорее забраться в постель, направился к своей комнате. Его знобило, ломило в суставах, и он даже подумал, что простыл в дороге.

Открыв ключом дверь, он вдруг почувствовал какой-то странный запах... Не запах сырости спертого воздуха, какой бывает в давно не проветренной комнате, а пропитанный тяжелым, как пар, дыханием тошнотворный запах блуда. Барон замер. Им овладело такое чувство, словно он грабитель, прокрававшийся в комнату, и, хоть знает, что дома никого нет, все же хочет еще раз убедиться в этом, привыкнуть к темноте и хорошенько сориентироваться — где что лежит и где дверь, ведущая в соседнюю комнату... Вот он разберется во всем этом и переступит порог...

— Кто тут?

— Я... — услышал он сдавленный голос падчерицы.

Уже десять лет Барон спал в этой комнате. Спал один. Иногда, раз или два в неделю, поздно ночью Аида заглядывала к нему. Приходила в одной рубашке, грубо пошаркивая шлепанцами, то и дело натываясь на мебель. Заходила как бы случайно, в поисках какого-то несуществующего предмета... Барон протягивал руку к

маленькому ночнику, всегда стоявшему на стуле у его изголовья, и нажимал на кнопку... Делал он это не потому, чтоб она легче нашла то, что искала. Просто он давал ей понять, что не спит, и, отодвигаясь к стене, освобождал ей место в постели.

Но как в его постели оказалась падчерица? Барон стал шарить по стене в поисках выключателя...

Яркий свет ослепил Барона, и он приложил к глазам руку, успев, однако, заметить погрузившуюся под одеяло кучерявую голову.

Барона трудно было удивить. Он повидал на своем веку немало, но такого все же не ожидал и сперва даже не поверил собственным глазам... То, что он увидел, не лезло ни в какие ворота, было каким-то наваждением, ужасом, кошмаром. Он должен действовать. Иначе у него разорвется сердце... Он уже не может закрыть глаза на бесстыдство падчерицы, проглотить ухмылку кучерявого, унести ее с собой за дверь... На это ему не дают права честолюбие и годами, нет, десятилетиями обретенное имя, которое и по сей день многих приводит в трепет. Уже ничто не могло его остановить. Угоди он сейчас, как волк, одной лапой в капкан, он тут же, не раздумывая, отгрыз бы ее и пополз дальше...

Не раз Барон переживал такие минуты, часы и дни, когда дорожил не столько своей жизнью, сколько именем... Его всегда подстрекали честолюбие и... страх, заставляли метаться, бросаться из стороны в сторону. Так было раньше. Не изменилось ничего и теперь, когда он постарел.

Страх... Он преследовал Барона по пятам. Барон боялся, когда лез в чужое окно, обчищал на пляже бумажник иностранца и грабил, изменял другу или заступался за него, прямо шел на предназначенный другому нож или перерезал горло спящему — он всегда боялся. Еле живой, он уходил, зарывался в свое логово — беспомощный и дряхлый и в то же время победивший в очередной раз, окрыленный и восторженный, как урвавший добычу шакал... А страх, с самого начала овладевший им, подстегивал его и толкал на новое преступление, а потом он же и заставлял его бежать.

Напрашивается вопрос: почему Барон искал опасности, если так боялся? Во-первых, человек всегда опасен



своей слабостью; во-вторых — страх порождает слепую отвагу, и, в-третьих, — и это главное — Барон никогда об этом не задумывался. Не задумывался, но если бы и спросил себя, все равно не смог бы ответить. Страх был его вечным спутником, и он привык к нему так же, как и к полной риска и опасности жизни, которую он не мог изменить, верил, что живет так, как ему следует жить, занимается «своим» делом. Иначе он не мог жить, также, как и голодный волк не может не рыскать вокруг овчарни, боясь собак...

Как правило, он ходил на «дело» один и почти никогда не брал подельника, до конца не доверяя никому. Возможно, причиной тому была мнительность Барона, а может, он и других считал такими же лживыми и ненадежными, каким был сам.

Одесские воры прозвали Барона «Волком», и его это радовало. Сам-то он знал, какой он «Волк». Он ходил один в поисках жертвы, скорее как лис, а не волк. Порой он сам себя ловил на мысли, что трусит перед делом, как заяц... Действительно, его нюх и слух настолько обострились, что благодаря этой «заячьей» — как он признавался себе — осторожности, Барон редко попадался и выходил сухим из многих запутанных дел.

Когда он приехал в приморский городок и поселился в одном из старых кварталов, многие его уже знали. Одесские связи, кличка, привезенная из лагеря, и глубокий шрам на виске служили ему хорошей рекомендацией, отводили должное место в кругу людей, среди которых он должен был вращаться. Барон стремился к тому, чтоб его уважали не только блатные, но и порядочные люди, и, следует признать, что он преуспел в этом. Вначале он сошелся с Гуджей, Бондзи, Джоджи и другими ребятами, которым в ту пору было лет по восемнадцать-двадцать. Но связь эта длилась недолго. Вскоре они что-то не поделили или, быть может, Барона не устроила их компания, и он отошел от них.

Как-то он даже решил все бросить. Довольно, мол, с меня, говорил, показывая пожелтевшие гнилые зубы, но с таким лукавым выражением лица, что трудно было понять — шутит он или говорит всерьез.

Вскоре Барон раздобыл разрешение на постройку кофейни, и это многих удивило. Ведь нужны были немалые средства на то, чтоб поставить ее на сваи, отде-

лать бамбуком интерьер. Барон не стал за стойку, эту обязанность он возложил на Рафика, нынешнего хозяина кофейни, сам же, как истый барон, устроился за маленьким столиком у окна между нагроможденными друг на друга пустыми ящиками, подставил лоб ветерку, дующему с моря, и стал попивать душистый черный кофе без сахара...

Никто не осмеливался заговорить с ним непочтительно, да и сам Барон держался учтиво с людьми самого разного социального положения. Разумеется, у кофейни был государственный план, который, как правило, она выполняла.

«Что поделаешь, и я по-своему служу стране», — говорил знакомым Барон, и, пожалуй, в его словах была доля правды.

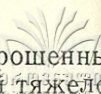
Да, он завязал, но все же оставался Бароном и никому не позволил бы над собой глумиться.

Поэтому и не пощадил кучерявого соседа (об одном жалел, что не досталось и падчерице). Он взял со стола бутылку из-под водки, разбил ее и... Иначе он не мог поступить. В противном случае он уже не мог бы свободно гулять по бульвару, сидеть в кофейне и пить кофе. И так после того, как он открыл кофейню, его репутация среди уголовников пошатнулась. Все, что у него оставалось, было имя, обеспечивающее его неприкосновенность и одиночество.

Раньше Барон точно бы убил соседа, на месте прикончил бы кучерявого или убрал потом, втихомолку, не неся ответственности, да так, что все бы знали, чьих это рук дело. Но уже другим был Барон. Не то возраст, не то страх перед большим сроком сломили его. Ему и так недолго оставалось жить, и он не хотел умирать в тюрьме. Какая вроде бы разница, где бы издох он, среди таких же отпетых, как он, или в этом городке?! И все же всему на свете Барон предпочитал свой столик между ящиками, душистый кофе, писк чаек, шепот свежего ветерка, доносящийся из-за окна, и плеск волн, накатывающихся на сваи...

Но и просто так не мог он выйти из комнаты и закрыть за собой дверь. На это ему не давал права случай из прошлого...

В Одессе Барона с Аидой застал ее муж и как ни в чем не бывало, словно не заметил их, вышел из ком-



наты. Барону запомнились его плечи и взъерошенные русые волосы. Муж снял с вешалки в прихожей тяжелое коричневое пальто, надел его, обеими руками нахлобучил затасканную и помятую кепку и уже в дверях удивительно спокойно и даже вежливо сказал замершей в постели жене: «Аида, я ухожу, присмотри за ребенком!..»

Он ушел и оставил испуганному, а скорее ошарашенному его поступком Барону молодую красивую жену, трехлетнюю дочь и квартиру в одном из старых кварталов Одессы.

Барон расхохотался...

Аиду это смутило, насупившись, она присела в постели, но потом и сама рассмеялась...

— Я бы на его месте обоих... — шепнул ей Барон.

— Знаю, — невозмутимо ответила она, дав понять, что в ее глазах Барон был другим; пожалуй, поэтому она и держалась хладнокровнее его, когда в комнату вошел муж.

С того дня Барон получил полную свободу действий. Все — и квартира, и постель, и женщина — принадлежало ему навеки, и он мог обращаться со всем этим так, как ему заблагорассудится.

Красивой и стройной была Аида. Ночью — ласковой и страстной, днем — покорной и бессловесной, и Барону казалось, что он уже не сможет жить с другой.

Спустя два года он продал квартиру и привез Аиду с дочкой в этот приморский городок.

Последнее время, оставшись один, Барон часто задавал себе вопрос: простил бы он подобный поступок родной дочери? Нет, скорее. Однако порой им овладевала тоска, особенно среди ночи, когда ему как бы сдавливал горло кошмар и казалось — пробил его час... Страх перед смертью поднимал его с постели, припирал к стенке. Слишком тяжело ему бывало в такие минуты, и он долго не мог разобраться — ветер шумит на дворе, или у его двери стоит смерть, как старая собака со слезящимися глазами, зловонное дыхание которой он чувствует... В эти минуты он готов был простить падчицу.

Далеко ушли Барон и Алиа.

Город остался позади.

Они стояли на пригорке.

В сорока шагах от них лежало море — спокойное, синее.

Барон нагнулся, подобрал плоский камень и бросил его. Камень не долетел до воды. Потом Барон взял камешек поменьше и пошел к берегу.

Алиа последовал за ним.

**Барон:** Когда ты там был последний раз? — спросил неожиданно. Потом снял с плеча связанные тесемками ботинки, положил их на валун, сел, оперся локтями о колени, перевел дыхание и исподлобья глянул на Алиа.

**Алиа:** Где? — смущенно переступил с ноги на ногу и попятился. За спиной тихо урчали волны. Впереди, в ста шагах, виднелся лес, и в воздухе стоял смешанный запах моря и перегноя.

**Барон:** В деревне...

**Алиа:** Не помню, давно. С тех пор, как мы сюда приехали, был раза два, наверно.

**Барон:** Твои родичи нашли в лесу моего отца, его башлык и топор... — Барон вскинул плечи, словно желая спрятать между ними голову. Его седые волосы были всклокочены...

**Алиа:** А что с ним случилось?

**Барон:** Пошел в лес за дровами, заблудился, и его растерзали волки. Мне тогда было одиннадцать... С того дня и помню твоих родичей. Перед арбой шел твой дед... Сколько воды утекло с тех пор. Сорок, нет, сорок два года. — Потом он глянул на Алиа и спросил: — Когда он умер?

**Алиа:** Кто?

**Барон:** Дед твой.

**Алиа:** Слег в день похорон Гуджи, а через неделю кончился. Доктор сказал, от разрыва сердца. Ему было восемьдесят три года, и он страдал какой-то странной болезнью...

Вернувшись с кладбища после похорон Гуджи, родственники не застали старика. Это никого не обеспокоило. Подумали, что он где-то рядом. В полночь Алиа хватился деда и, не найдя его дома, попросил двух соседских парней разыскать его.

Алиа мучали дурные предчувствия. У деда болели ноги, и он почти не выходил из дома; лишь в солнечную погоду с помощью внука спускался во двор. Море было близко, метрах в пятистах, и Алиа почему-то решил, что найдет старика на берегу.

Стояла теплая лунная ночь.

Ребята обшарили весь берег.

Тревога Алиа усиливалась.

Один из соседей предложил поискать на кладбище.

Так оно и оказалось. Дед лежал на могильном холме Гуджи... Соседи даже удивились, обнаружив, что он жив.

Старика привели в чувство, с трудом подняли на ноги. Он молил Алиа не уводить его с кладбища, говорил, что могила Гуджи теплее его постели.

Алиа прослезился, уткнулся головой в грудь деда, пытаясь заглушить свой плач. Потом Алиа бережно обхватил старика за талию и повел его домой.

На улице перед домом дед перестал противиться, спокойно поднялся в свою комнату, разделся без посторонней помощи и лег.

Про него опять забыли. И неудивительно. Не только Алиа и его мать, но и весь квартал был потрясен смертью Гуджи. На четвертый день обнаружили, что за все это время Тада не съел и куска хлеба. Каждый вечер еду в его комнате находили нетронутой. Он лежал, устремив взор в потолок, и молчал. Кого только не приводил к деду Алиа. Родственников, соседей и сверстников, но никто не смог заставить заговорить его или притронуться к пище.

Со дня похорон Гуджи прошла неделя.

Ночью старик раскашлялся. Спавшего в соседней комнате Алиа разбудил его сдавленный кашель, который слышался довольно долго. Постепенно старику все труднее стало сдерживать кашель, усиливалась одышка, и он захрипел. Алиа вошел к деду, зажег свет.

Старик лежал на полу ничком. Алиа бросился к деду и приподнял его. На губах у старика пузырилась кровь, лоб покрывали крупные капли пота, остекленел взор. Старик был мертв.

**Барон:** Да, славный был человек. — Нагнулся, подобрал красивый камешек, поднес к лицу и стал разглядывать.

**Алиа:** Смерть Гуджи его доконала.

**Барон:** Не смог пережить внука. — Кинул камень в воду и потер рукой ляжку. — Помню вашу усадьбу; старую резную оду посреди зеленого двора... Я знал твоего отца. Он был чуть старше меня, лет на пять или шесть.

**Алиа:** Я его не помню. — Он опять переступил с ноги на ногу, как будто раскаленный песок обжигал ему пятки.

**Барон:** Еще бы. — Участливо глянул на Алиа. — В тот год, когда Мануча женился, я покинул деревню. Лишь потом узнал, что с ним приключилось. Дурное было время. Брат не щадил брата, один за другим пропадали настоящие мужчины... У вас там кто-нибудь остался?

**Алиа:** Дальняя родня. Гуджа часто ездил в деревню, любил ее, конечно... Мне было только шесть лет, когда мы сюда перебрались.

**Барон:** Верно. — Кивнул. — Хотя шесть лет не так уж и мало, и ты наверняка что-то запомнил. Да и я жил в деревне не дольше Гуджи. Десять лет прошло с его смерти, не правда ли?

**Алиа:** — Нет, двенадцать. — Не ожидал этого вопроса; стал нервно водить рукой по груди и бокам, как бы желая удостовериться на месте ли рубашка брата.

...Бондзи часто ходил к ним. Они с Гуджей были давнишними друзьями, и Алиа знал убийцу брата с детства.

В то лето, когда Бондзи выстрелил в Гуджу, они виделись почти каждый день.

Проезжая на своем грузовике, Алиа часто видел на бульваре брата, Бондзи, Джоджи и других их дружков. В городке их знали все. Одних встреча с ними пугала, другие восторгались друзьями, а семнадцати-восемнадцатилетние парни только и ждали их кивка или подмигивания. Иное тогда было время, да и город жил своими непонятными законами... Как конокрадство в свое время не считалось слишком зазорным занятием среди мегрелов, так и блатные, отсидевшие в тюрьме, пользовались в этом городке определенной симпатией, тем более среди подростков. Гуджина же «бракка» не боялась никого и ничего. Власти не сидели сложа руки, каждый из этой компании был судим один или два раза, но, как уже отмечалось, судимость окружала их в

глазах иных каким-то романтическим ореолом, другие в страхе перед ними заискивали...

Гуджа недавно вышел из тюрьмы. Бондзи тоже и они уже не разлучались; на пару играли в кости, совершали налеты и квартирные кражи, устраивали «разборы». Почти все темные дела в городке проходили с их участием или же с их ведома. Друзья действовали безнаказанно. Возможно, симпатии к Гудже и подобным ему были вызваны страхом или недоверием к городским руководителям, которые, прикрываясь своими должностями, подчас действовали бесчестно, а Гуджа и его дружки вызывали восторг потому, что находились в противоположном лагере. Может, и так. К тому же в городе судачили, что ребята обыграли в карты какое-то должностное лицо, а это всегда радовало обывателя...

Черная кошка пробежала между Гуджей и Бондзи. Весть об этом мгновенно разнеслась по городу. Говорили всякое, но что произошло между ними на самом деле, никто не знал.

В ту ночь Гуджа привел домой Джоджи (того самого, которого Алиа третьего дня направил к Бондзи с предложением покинуть город).

Оба были пьяны, но все же был накрыт стол.

Гуджа вел себя странно, чрезмерно веселился, много смеялся... Собственноручно одев деда, он усадил его во главе стола, ласкал и голубил мать, как ребенок, трепал по плечу Алиа...

Застолье длилось до поздней ночи.

Дед и мать ушли спать.

У Гуджи испортилось настроение.

Он схватил со стола стакан и раскрошил его, поранив руку... Алиа с тревогой уставился на брата, глаза которого покраснели и опухли, словно из них вот-вот должна была брызнуть кровь. Алиа полил окровавленную ладонь брата водкой, разорвал платок и перевязал. Стоя на коленях перед Гуджей, он почувствовал на плече его руку, и ему захотелось спрятать голову под эту теплую, сильную и широкую, как лопата, ладонь брата.

Гуджа осушил стакан Алиа и заговорил:

— Ошибся я, надо было убить падлу. Знаю, не оставит меня в покое, все равно придется это сделать!

— Беспощаден Бондзи, — хмуро согласился с ним

Джоджи.

Алиа это не понравилось. Он положил руку на плечо брата и взглядом спросил: что произошло?

— Я избил Бондзи, — сказал Гуджа. — Слишком он возомнил о себе. Но не убил... — добавил он с сожалением и хлопнул рукой об стол.

У Алиа испортилось настроение. По Гудже было видно, что избивание Бондзи на глазах всего города не сулило ему ничего хорошего. Бондзи был не тем человеком, который мог стерпеть подобный позор.

Гуджа не назвал причину ссоры. Он никогда не вводил Алиа в курс своих дел, и не потому, что тот был младше. Гуджа вел «темную» жизнь, а такие люди, если они сохранили хоть каплю совести, не хотят, чтоб по их стопам шли близкие, братья и дети. А Гуджа считал себя не только братом Алиа, но и его воспитателем, наставником.

Что не поделили Гуджа и Бондзи, знали лишь несколько человек. Конечно, им не стоило ссориться, думал Алиа. Но в кругу подобных людей порой достаточно не так произнесенного слова, чтоб еще вчерашние друзья превратились в заклятых врагов. Наступает момент, когда становится необходимо разобраться, — кто отчаянней и сильнее. Вдвоем, по их мнению, они не могут взойти на постамент славы в маленьком городке, и одному из них приходится уступить первенство.

Заметив беспокойство брата, Гуджа наполнил ему стакан, похлопал по плечу и, подмигнув, сказал, что все будет в порядке и ему нечего волноваться.

На другой день Алиа не пошел на работу. Они с Гуджей отправились в город. Гуджа положил ему руку на плечо и весь путь от дома до центра они прошли обнявшись, как подростки.

**Барон:** После того, как Гуджа избил его, Бондзи заходил ко мне. Слава богу, не застал меня дома. Ясно, что он приходил за оружием. — Испытующе глянул на Алиа. Тот смущенно потупил взор, явно не веря собеседнику. — Вижу, ты мне не веришь. Я знал про их ссору и специально ушел из дому. Впрочем, какое это имеет значение? Раз он решил убить, то все равно достал бы оружие, и сам господь бог не мог помешать ему сделать это. — Барон задумчиво устремил взор вдаль.



Потом продолжил: — Знаю, ты обязан отомстить за брата. И у меня есть братья, обидеть которых я не позволю никому на свете. Хотя у нас другие обстоятельства. Вот уже тридцать лет, как я расстался с ними. Да и раньше у нас было мало общего, еще тогда, когда мать укладывала нас в одну постель. За тридцать лет я всего три раза ездил в деревню, последний раз на похороны матери. Удивляешься?! Раньше я совсем о них не думал... Сейчас что-то изменилось, все чаще вспоминаю деревню, детство... Видно, постарел, вот и потянуло на исповедь. — Встал, прошелся по песку, потом увидел лежавшие на камне матерчатые туфли и почему-то рассмеялся. — Для меня потеряно то время, когда меня звали Джани. Ушло оно безвозвратно, кануло в Лету вместе с небом и землей моей деревни. Какая разница, где ты родился, если солнце светит лишь для тебя одного... Трава не трава, а земля лишь прах, грязь и ничего больше! Нет, ты не думай, что это ностальгия и все такое. Да и не зов крови. Меня не тянет на круги своя. Скорее, это страх перед смертью. Не хочется дышать в одиночестве, вроде бездомной собаки... Видно, любовь впитывают с молоком матери, еще в утробе, и она должна жить в человеке, пускать корни и цвести... Любовь к земле, луне и небу, роду и племени... Любовь, как и кровь в жилах, должна отрезвлять человека, заставляя его оглядываться назад, хочет он этого, или нет. Иначе он обречен. Ведь мы с братьями дети одних родителей, одних кровей, но чужды мне их заботы, дела и интересы. И не я виноват, что такой уродился. С детства чувствовал это и старался не походить на братьев. А сейчас? Они избегают меня, своего старшего брата. Даже боятся. Впрочем, это мало меня беспокоит. Они забиты и в то же время хитры по-крестьянски. Для меня — смешны и непонятны. Жаль мне их, родные ведь! Страх и сомнения преследуют меня по пятам. Всю дорогу играю, притворничаю. Видно, дьяволом одержим... — Усмехнулся, опустил на камень и поудобнее подложил под себя туфли. — Лицо у меня непроницаемо, как маска; нюх — острый, как у ищейки. Но не это мне хочется сказать тебе сегодня. Часто я задаю себе вопрос: кто я, что за сила во мне сидит и куда меня подталкивает? Порой кажется, что жизнь кончилась, прошла безвозвратно, и я качусь куда-то вниз,

под гору... На пути глубокие рытвины, камни и кустарник, которые царапают, колют, и в эти минуты я задумываюсь о прожитой жизни, всплывают старые грехи, становится жутко. Каким бы безбожником ни был человек, на старости лет его пугает смерть. — Глянул на Алиа, желая удостовериться, слушает ли он. — Заплесневел я, застоялся, как болото... Облегчения требует душа, если еще не потеряна навсегда. В конце концов и я человек, и мне трудно выдержать до конца, не дрогнув... На теле сыплю, как после оспы, проявляются грехи и преступления... Даже колодец чистят раз в году, чтоб он не наполнился нечистотами... Проснувшись утром, страдаю. Не могу поднять тело, из горла затхлость так и прет и весь день потом жутко давит, кажется, вот-вот удушит... Говорят, будто исповедь помогает человеку, облегчает ему душу. Не правда это. Летом, во время засухи, солнце осушает болото, и оно, некогда покрытое тиной, зловонное, теряет запах затхлости. То же чувствует человек, отведя душу. Теряет запах затхлости что ли... Просто его тело освобождается на какое-то время, вот и все. — Раскурил сигарету и, поперхнувшись дымом, раскашлялся. — Тайна этих пальцев уйдет со мной в могилу. И правильно. Все люди грешны, с той лишь разницей, что одни больше, другие меньше. Человек грешен по природе. Даже святой старец во время коленопреклоненной молитвы предает свою веру; нетнет и просит господа не за свою паству, а за себя лично. Тайна не тайна, если ее не унесешь в могилу, а там черви должны поглотить ее вместе с останками... Видишь это? — Поднес к виску большой палец. — Многих ужасает вид этого шрама, для меня же это одно грязное воспоминание и ничего больше. Раньше я даже гордился им. Барон улыбнулся, отшвырнул щелчком в сторону истлевший окурок. — Я сказал, что признание облегчит мне душу. Так ли это? Нет, пожалуй. А тебе? Какая тебе от всего этого польза? Никакой. Ведь ты пришел ко мне за оружием, чтоб убить человека и тем самым упечь меня в тюрьму, на старости лет. Зачем? В чем я перед тобой провинился?

**Алиа:** Тебя, в тюрьму?

**Барон:** Дав тебе пушку, я становлюсь твоим соучастником... Смотрю на тебя и удивляюсь. На греховный путь вступил ты, парень, на мой путь, и нет между нами

разницы. Разве что родился я лет на двадцать раньше, вот и все.

Трудно было поверить в искренность Барона. Может, по старой привычке, он упражнялся в красноречии, чтоб вскружить Алиа голову и поймать его в искусно расставленные силки. Неспроста же он так изливался?! Возможно, Барону и впрямь не давали покоя старые грехи и в нем проснулось что-то **человеческое...** Однако было неясно, к чему он клонил, на что рассчитывал.

**Алиа:** Он убил моего брата! — Воскликнул охрипшим голосом. — Гуджа был мне не только братом, отцом! Я видел его простреленное сердце... — Опасаясь, как бы Барон не увидел набежавшие на глаза слезы, отвел в сторону взор.

**Барон:** Знаю... — Качнул головой. — Разве не знаю, кем для тебя был Гуджа...

\* \* \*

«**Биржа**», пятачок перед кинотеатром в центре города, считалась излюбленным местом встреч.

По ту сторону улицы, за аллеей платанов, виднелась тыльная часть здания порта с высокой антенной и сетью тонких проводов. Чуть дальше — бамбуковая кофейня и причал с катерами и рыбацкими лодками.

Раз в месяц, как во сне или сказке, городу являлся огромный белый теплоход с иностранцами, который свободно мог вместить половину населения района. Благодаря этим визитам местная молодежь одевалась по последней моде.

Как только в морской синеве вырисовывался силуэт теплохода, городом овладевал праздничный настрой. На пристань высыпали пионеры в красных галстуках, матери с младенцами на руках, старики, занятые люди и бездельники. Заново подметались и драились причал, центральные улицы. Все вдруг становилось вежливыми и отзывчивыми... Теплоход вносил разнообразие в привычную и размеренную жизнь городка. Набрав горючего и прогудев напоследок, он уплывал в далекие и неведомые страны...

Гуджу и его дружков часто можно было видеть на «бирже». При появлении Гуджи все оживлялись, его

со всех сторон обступали друзья и знакомые, и до позднего вечера не смолкали шум и веселье. С сумерками компания разбредалась. Уходили по двое или поодиночке; одни — на темное дело, другие — кутить или отдыхать. Конечно, были и такие, которые приходили на «биржу» просто побездельничать или почесать языком, послушать про приключения блатных и потом, не без гордости ссылаясь на источник, рассказать о них другим...

Стоял жаркий летний вечер. В воздухе пахло теплой пылью. Алиа стоял с братом и, изредка касаясь его плеча, давал ему понять, что он рядом. Гуджа грустно улыбался. Тогда Алиа не понимал его состояния, лишь сейчас, когда Гуджи не стало, он по-своему объяснял его поведение. Тогда же его просто пугал взгляд брата.

Подходили ребята, целовали Алиа, интересовались его здоровьем, спрашивали, почему его не видно. Алиа нечего было ответить. Ведь известно, где он пропадал. С утра до вечера он крутил баранку своего старенького грузовика и только по воскресеньям выходил прогуляться в город. Тогда же он виделся и с братом, на «бирже» или же на стадионе. Иногда и сам Гуджа приезжал воскресным утром домой на машине какого-нибудь дружка. Он обласкивал мать и деда, дарил им немного денег, говорил, что дела его идут отлично, и пока мать успевала оправиться от радости встречи с сыном, покурить его за долгое отсутствие, Гуджа и Алиа садились в машину и отправлялись в город... Обычно они ходили в кино или на стадион — смотреть игру местного футбольного клуба. Потом довольно долго выстаивали на «бирже» или фланировали по бульвару и уже после наступления сумерек отправлялись кутить. Поздно ночью, если у Гуджи не оказывалось какого-то срочного дела, братья вместе возвращались домой.

Никто не заговаривал о вчерашнем инциденте. Алиа уже знал, что Гуджа избил Бондзи. Несколько раз он довольно смело вмешивался в разговор старших, как бы давая им понять, что знает себе цену. Смелость эта удивляла его самого, но на нее его вызывали сами «биржевики», спрашивая его мнения, заискивающе глядя ему в глаза. Алиа понимал, чем было вызвано такое поведение, ведь он стоял рядом с Гуджей, который пользо-

вался среди этих ребят огромным авторитетом, тем более теперь, после того, как избил Бондзи.

Гуджа был мрачен, как туча. Он стоял в стороне от ребят, держался достойно. На нем были новая белая рубашка (та, которую Алиа надел сейчас, двенадцать лет спустя, чтоб ему было легче отомстить за брата), узкие коричневые брюки и черные ботинки с заостренными носками. Он молчал, неохотно выслушивая остро-ты дружков... Алиа с восхищением глядел на брата. Он успел позабыть свои вчерашние опасения.

Гуджа попросил сигарету. Тотчас к нему потянулось несколько рук с пачками «Примы». Гуджа развел руки и улыбнулся, дескать, не могу взять у всех одновременно.

Улыбка его послужила сигналом к общему веселью. Компания хором загалдела, и вскоре бульвар оглушал ее хохот... Вспомнили разное: про «райскую птичку» — милую шалунью, облюбованную Гуджей, которая вот уже третий раз подряд проплывала мимо «биржи», шурша платьем; про попойку накануне и забавную историю с галошами; про проигравшего «фраера» и милиционера, у которого Гуджа отобрал фуражку и забросил в море...

Алиа глянул на брата.

Гуджа стоял как-то отчужденно и по-прежнему не принимал участия в общем веселье.

С улицы свернул «Москвич» и покатил в сторону кинотеатра. По бульвару запрещалось движение транспорта, и все обратили внимание на машину, думая, что это какой-нибудь городской руководитель или пьяный лихач. Поровнявшись с «биржей», «Москвич» замедлил ход и остановился.

Грянул выстрел. Потом второй, и «Москвич» стремительно сорвался с места.

— Алиа! — вскрикнул Гуджа.

Круг ребят распался. Все отпрянули назад. Возглас Гуджи заставил Алиа застыть на месте.

Брат стоял пригнувшись, прижимая обе руки к животу, будто вот-вот должен провалиться в невидимую яму. Увидев Алиа, он отвел от живота правую руку и протянул ее брату... Вид крови отрезвил Алиа. Взревев, он бросился к Гудже...

— Осторожно! — выдавил из себя Гуджа. Лицо его исказила гримаса, челюсть отвисла и одеревенела...

Медленно, словно отдыхая, он опустился на оба колена...

Алиа присел и поддержал брата, затем бережно прижал к груди искаженное болью лицо брата...

**Алиа:** Я убью его, убью!

**Барон:** Ну, убьешь, а что дальше?

**Алиа:** Барон, не суй своего носа куда не надо!

**Барон:** Вот оно что! — Удивленно глянул на него.

— Знаешь, ты прав!

**Алиа:** Что ты этим хочешь сказать?

**Барон:** Ничего. Просто, если тебе суждено стать убийцей, ты им станешь. Окажись ты на необитаемом острове, жертву вынесет, прибьет к берегу. Враг твой прильнет к твоим ногам, станет целовать тебе пятки в надежде на спасение... Но тут, в этот момент, дьявол вложит в твои руки копьё, омрачит тебе разум и заставит проткнуть ему горло... И не думай, пожалуйста, что ты в чем-нибудь повинен или можешь поступить иначе. Это рок, и ты слепо следуешь за ним. Все в руках провидения. Оно может сделать тебя победителем или побежденным! Убивая, ты не думаешь, что твоя жертва дышит, чувствует и обладает душой, как и ты. В твоих глазах это зверь, пресмыкающееся, которому надо раздавить голову... Лишь одну ты преследуешь цель—одолеть его, опередить, чтоб не стать самому побежденным. — Барон рассмеялся. — Возможно, ты возомнишь себя героем, пролив кровь, вскинешь к небу руки и воскликнешь, как победивший гладиатор. — Глянул на Алиа, раскурил сигарету и, затянувшись, выпустил дым в его сторону. — Но потом, когда пройдет время... Поживешь с мое и убедишься сам... Зря я все это тебе рассказываю. Все будет хорошо, отлично все будет! Ведь ты не убийца! Скажу тебе больше: ты мог убить Бондзи лишь тогда, когда прижимал к груди умирающего брата... Тогда, когда Гуджа взирал на тебя, как на единственную свою надежду и опору... Сейчас уже поздно... Прежде чем ты сумеешь спустить курок, из тебя душа вылетит, наложишь в штаны...

**Алиа:** Заткнись!

**Барон:** Зря горячишься. — Лукаво сощурил глаза и улыбнулся. — Признайся, ведь ты боишься правды. Думаешь, не знаю, что ты обещал ребятам убить Бондзи на суде?! Тогда ведь тебе не надо было искать ору-

жия. Джоджи сам подложил тебе под подушку... Не-  
бось, не только уснуть, но и голову положить на нее, ты  
не смог тогда...

Барон был прав.

...В комнате у Алиа не горел свет.

— Алиа...

Тихо позвал кто-то и постучал по стеклу.

— Кто там? — спросил он, не шевельнувшись в по-  
стели.

— Это я, Джоджи.

Была прохладная лунная ночь.

В дверном проеме появилась огромная фигура.

— погоди, я свет зажгу...

Алиа присел в постели, пошарил рукой на стуле и  
схватил брюки.

— Лежи, не вставай... Ты что, спал? — как бы ме-  
жду прочим спросил Джоджи.

— Нет...

Джоджи стоял в дверях, видимо, привыкая к тем-  
ноте. Постепенно в комнате вырисовывались предметы  
— раздвижной стол, шифоньер с зеркалом, кровать с  
никелированными шарами на спинках, стул у изголовья  
и будильник на нем...

— Нет, — повторил Алиа, надевая брюки.

Разве мог он заснуть? На сегодня назначен был суд  
и ему предстояла встреча с убийцей брата. Алиа хоро-  
шо знал Бондзи. Они не раз сживали все вместе в этой  
комнате, пили, спорили; здесь же Гуджа и Бондзи по-  
клялись друг другу в вечной дружбе. Как правило,  
Алиа не вмешивался в их разговор; молча пил и слу-  
шал. Потом он оставался здесь, в этой комнате, приби-  
рал ее и ложился спать, чтоб поспеть утром в гараж. А  
Гуджа и Бондзи подымались на второй этаж, им не на-  
до было вставать рано.

Со дня смерти Гуджи прошло три месяца. Все это  
время Алиа не находил себе места. Ночью, как только он  
гасил свет, перед его глазами всплывал образ Бондзи.  
Он слышал разговор брата с Бондзи и их нервный смех.  
Несколько ночей, которые Бондзи провел в их доме, на-  
всегда врезались в его память. Алиа потерял покой,  
никак не мог уснуть и ворочался в постели, как в жару.  
Да и сон не приносил ему облегчения. То он преследо-  
вал Бондзи, чтоб убить его, то ему грезились обогранные

кровью Бондзи руки. Проснувшись, Алиа подносил их к лицу, но они пахли бензином и мазутом, и, боясь, как бы его не стошнило, он зарывался в подушку. Да и сам Бондзи не давал ему во сне покоя. Но вот наконец он воочию увидит убийцу брата с расстояния нескольких метров, сможет заглянуть ему в лицо, их глаза встретятся и, хочет он этого или нет, Алиа должен вынести этот взгляд...

Джоджи взял стул и сел перед Алиа.

— Как ты? — спросил он и положил ему руку на колено.

— ...

Алиа почувствовал запах перегара и отпрянул.

— Сегодня.. — Джоджи ударил кулаком по ладони и скверно выругался. — Сегодня...

— Сегодня... — повторил Алиа с отсутствующим видом, словно все это его не касалось. Будто он лишь сейчас узнал от Джоджи, какой наступает день, и на глаза его навернулись слезы.

Теперь он взирал с надеждой на сидящего перед ним исполина.

— Сегодня мы должны что-то предпринять! — шепнул Джоджи и поднес голову к груди Алиа, словно желая прислушаться к биению его сердца. — Чему быть, того не миновать!

— Что, Джоджи? — растерянно воскликнул Алиа. Он не понял, к чему клонит друг Гуджи.

— Он не должен жить... — еще тише зашептал Джоджи. — **Слышишь, он должен умереть!** — он взял Алиа за запястье и больно, словно клещами, сжал его. — Если не можешь сам, скажи! Правда, Гуджа был твоим братом, но... Ведь и мы с ним были такими же братьями, и один из нас возьмет на себя это дело! — он все еще сжимал запястье Алиа.

— Как? — спросил Алиа.

«Хоть бы отпустил, хоть бы отпустил...» — думал он.

Ему казалось, что Джоджи куда-то тащит его на веревке и не отстанет, пока не добьется своего.

— Подумай о себе, — уже не шептал, а шипел Джоджи. — Как ты будешь ходить по улице... Самое большее, тебе дадут три года... Нет, так пять! — он отпустил Алиа и вытянул для большей убедительности



перед его носом огромную пятерню. — Все ведь происходит по горячим следам...

— Ладно. — Вымолвил Алиа, но так, что было понять, согласен он на пять лет или на то, что предложит ему сейчас Джоджи.

Не только каких-то пять лет, но и всю жизнь он готов был просидеть в тюрьме ради Гуджи. Он не раз мечтал, чтоб пуля, предназначенная брату, угодила в него... И сейчас, в эту минуту, он желал смерти. Кровь надо было смыть кровью, а этим, казалось Алиа, он возьмет на душу еще больший грех. Ему хотелось умереть и раз и навсегда освободиться от этого кошмара. Нет, он не раз думал о мести. Порой ему казалось, что он жаждет крови, но всякий раз его пугала, сковывала по рукам и ногам та последняя минута и заставляла его отказаться от замысла, к которому он приходил с таким трудом... Алиа знал себя, знал, на что был способен (видно, прав Барон), что прежде чем он спустит курок, у него разорвется сердце.

— На твоём месте Гуджа...

Прав был Джоджи, и Алиа знал это. Если б он упал на мостовой и умер, Гуджа не оставил бы вокруг и целого камня.

— Ты не должен бояться! Такого случая не будет. — Рука Джоджи опять потянулась к нему.

Алиа думал, что Джоджи опять схватит его за запястье, но обманулся. Джоджи положил под подушку какой-то черный и блестящий предмет.

— Пораньше входи в зал... Мы все будем там. Садись позади меня и стреляй! В нем семь патронов, семь! Слышишь, ты не должен жалеть его! — Джоджи встал, положил ему руку на плечо и потрепал его.

— Ну, смотри!

Выйдя из комнаты, он не закрыл за собой дверь. Светало. Наступал роковой день.

Алиа потянулся к подушке, сжал в ладони тяжелый и леденящий сердце кусок стали. Потом повалился на постель, уткнулся лицом в подушку и зарыдал...

**Алиа:** Заткнись! Заткнись, говорю! Я уже! Уже... — «Убийца», хотелось сказать, но это слово никак не сходило с его уст, застревало в горле и, словно желая что-то доказать Барону, он расстегнул рубашку.

**Барон:** Не ори, надорвешься. — Равнодушно достал из-под себя ботинки и стал вытряхивать из них песок. — Люблю матерчатую обувь. Она мягкая и удобная. В ней никогда не болят ноги... — Стал обуваться. — Бондзи был у меня ночью. — Завязывая тесемки, сказал он как бы между прочим.

**Алиа:** Ну и... — Раскашлялся. — Что дальше?

**Барон:** — Что дальше, что дальше... Ничего. Был, говорю.

**Алиа:** Темнишь, Барон!

**Барон:** Ба! Да что тут удивительного, сынок? Как ты думаешь, зачем он приходил ко мне?

**Алиа:** Откуда мне знать...

**Барон:** А ты прав. Иногда сам не знаешь, как поступишь. Гм! — Ухмыльнулся. — В решающий момент я, бывает, становлюсь мудрым, как змей, а так... Доверяюсь чутью, интуиции или зову сердца. Всегда было так.

**Алиа:** Скажи, дал ему пушку или нет?.. — Тихо, почти шепотом. Потом, приняв какое-то решение, подошел к Барону вплотную.

**Барон:** Отойди! — Резко, не глядя на Алиа.

Вдруг Алиа почувствовал отвращение к этому согнутому, чем-то напоминающему дьявола человечку... Он побагровел, желваки его вздулись, кровь бросилась в лицо, и он изо всех сил ударил Барона кулаком в подбородок.

Барон упал как подкошенный и уткнулся лицом в песок. Он не ожидал удара. Хотя удар был настолько сильным, что он все равно не смог бы увернуться... Да и сам Алиа не думал бить. Его словно черт попутал.

Ничком, неподвижно лежал Барон, и если б не слабый хрип, можно было подумать, что он мертв.

Минутный испуг Алиа сменился брезгливостью.

«Неужто этой мрази я боялся?!» — подумал он, досадуя на себя.

Потом подошел к Барону и пнул его.

— Вставай, вставай, говорю!

Барон не шевельнулся.

По его подбородку сочилась кровь. Не кровь, а какая-то мутная, смешанная со слюной жидкость...

«Даже кровь у него гнилая», — подумал Алиа.

Похожий на тошноту комок подступил к горлу, и он сплюнул на песок.

Барон зашевелился.

Согнул ногу, потом — другую... Поднял голову... Жилы на его шее разбухли, как насосавшиеся крови пиявки. С трудом оторвав от песка спину, он присел. Уткнулся лицом в неестественно раздвинутые коленки и уставился в землю. Теперь он походил на скорпиона, преданного своими же сородичами.

**Барон:** Не боишься меня? — Спросил, не подняв головы.

**Алиа:** Нет. Не так ты страшен... уже. — Сам удивился такой выдержке. В эту минуту он действительно его не боялся.

**Барон:** Уж не забыл ли ты, кто я? — Сплюнул кровь. Гримаса исказила его лицо.

**Алиа:** Знаю, что ты за птица. Поэтому сейчас же с тобой разделаюсь. «Ошибся, что не убил его...» — вспомнились слова брата, и они придали ему уверенность.

**Барон:** Ты так думаешь? — сделал быстрое движение, но остановился. Потом добавил неуверенно: — Убью!

**Алиа:** Зря меня пугаешь, Барон. Не так я глуп, чтоб поверить, что ты повсюду таскаешь с собой пушку. Сейчас я сильнее...

Наступила пауза.

За спиной Алиа учащенно дышало море.

Впереди темнел лес.

Незаметно наступали сумерки.

**Барон:** Ты прав. — Согласился нехотя; лицо его было измазано, на подбородке запеклась тонкая полоска крови, похожая на раздавленного червяка...

Барон смотрел вдаль, лазурный горизонт, разделенное сверкающей полоской море цвета меди... В тумане — корабль... А может, не корабль, а какой-то голубоватый, подернутый дымкой предмет, который казался Барону кораблем...

**Барон:** Я не давал Бондзи оружия. — Провел рукой по лицу и вытер кровь. Потом сплюнул и облизнул нижнюю губу... — Ни тогда, ни вчера.

**Алиа:** А не лжешь? Хотя уже все равно!

**Барон:** Не все равно. — Оскалился. — Зачем тебя убивать... Ты еще можешь исправить ошибку.

**Алиа:** Барон, мне все равно, что убить одного донка, что — двух...

**Барон:** Молчи, сопляк! — Выхватил из кармана складной нож, ловко раскрыл его одной рукой и воткнул в песок. — Силенок не хватит... Кишка у тебя тонка. Я стар, но разок тебя достану...

**Алиа:** Сегодня я сильнее тебя! — Присмотрел воткнутую в песок толстую и обгорелую палку и мысленно измерил расстояние до нее.

**Барон:** Ладно уж. У тебя есть еще время... Подожду, пока ты закончишь свое дело. Еще я не убиваю тебя потому, что здесь мы одни. Есть еще причина! Но если ты отступишься и не пришьешь его, смотри...

\* \* \*

Судьба не ограничила семью Беришвили одним несчастьем. Через неделю после похорон Гуджи скончался старый Тада, который обрел вечный покой на кладбище рядом с внуком.

Алиа и его сломленная горем мать остались одни.

Несчастливая женщина никак не могла оправиться от удара, не было конца ее плачу и стенаниям. День-деньской проклинала она «злодея, погубившего их семью», выносила во двор увеличенную фотографию Гуджи и вопила громким голосом. Глядя на нее, сердце Алиа обливалось кровью, ему казалось, что в смерти брата мать винит его, и, не находя дома места, он убежал...

Но и на улице было не лучше. Приветствия знакомых казались неискренними, в них сквозили жалость и упрек — почему жив он, а не Гуджа...

Брат прожил двадцать шесть лет.

Ушел из жизни молодой, полный сил человек; пал от руки бывшего друга, и кого, как не Бондзи, было винить в этом?!

А, может, некого было винить в смерти Гуджи?

Даже Бондзи.

Может, где-то там, на небесах, еще до рождения человека определена его участь, чьей-то всемогущей рукой отпущено ему столько-то дней, ночей и мгновений?!

Кто знает?!

Когда завгар списал колымагу и Алиа надолго остался без работы, жизнь дома стала совсем невыносимой. Тогда и пристрастился Алиа к спиртному. Вино приносило облегчение, снимало боль и подступившую к горлу обиду. Пьяный, Алиа забывал все невзгоды: скорбящую мать, могилы близких... А протрезвев, вновь тянулся к бутылке с какой-то скрытой и безотчетной радостью.

Потом что-то изменилось. Вернее, он сам понял, что так не может продолжаться. Его стала беспокоить печень, дал о себе знать и желудок. Алиа стал меньше пить, а после получения машины и вовсе перестал. Когда до выхода Бондзи на свободу оставался год, он вновь запил.

Тогда Ольга просила его бросить все и уехать с ней, обещая спокойную жизнь на чужбине. Но Алиа отказался.

Говоря по правде, он бы с радостью покинул этот город, который ненавидел и которого так боялся. Ему хотелось забыть все и, главное, избежать того, что должно было случиться с ним со дня на день. Он жаждал спокойной и мирной жизни, без конфликтов, тревоги и напряжения. Но разве он мог бросить больную и одинокую мать, дорогие сердцу могилы?.. Но больше всего его удерживало чувство беспомощности, тошнотворный страх перед убийцей брата, которого он вынужден был избегать на глазах у всего города.

Когда «черный ворон» подъехал к зданию суда, у Алиа за поясом торчал револьвер, оставленный Джоджи накануне. Озираясь по сторонам, он то и дело ощупывал холодящий живот предмет. Машина остановилась. Алиа сорвался с места и побежал, прижимая рукой револьвер. Бежал как-то неуклюже, бочком, и чем меньше становилось расстояние между ним и машиной, тем яснее он сознавал, что не добежит до нее, а если и добежит, то не сможет выстрелить... Ему просто преградят путь и не дадут выстрелить, Алиа мечтал об этом.

Так оно и вышло.

Двое незнакомых, чудом оказавшихся рядом, схватили Алиа, вывернули ему руки и потащили к подъезду. Он не сопротивлялся, корчась от боли, невнятно мы-

чал и мечтал об одном, чтоб его видели Джоджи и друзья Гуджи, соседи и родственники...

Когда в маленькой полутемной комнате у него брали револьвер, Алиа стало стыдно за бездарно сыгранный спектакль. Он не пошел в зал, впрочем, его и не просили. Начальник охраны был настолько возмущен его поступком, что Алиа с помощью Джоджи и других друзей Гуджи с трудом удалось избежать ареста...

Судебное заседание длилось три дня.

Бондзи дали двенадцать лет.

Алиа знал, что его не расстреляют. Только матери казалось, что убийцу ее сына не оставят в живых.

После смерти Гуджи Алиа часто жалел о том, что у него нет еще одного брата, пусть совсем маленького, даже не умеющего ходить, или хотя бы калеки, прикованного к постели каким-то неизлечимым недугом. С ним он мог поделиться горем, и, как ему казалось, это облегчило бы его страдание. На плечах Алиа лежало тяжкое бремя мести, а брат, родной человек, мог поддержать его.

А если б у него был отец... Они поняли бы друг друга и предприняли что-то сообща...

Говорили, что Алиа очень похож на деда. Алиа и сам это чувствовал. У него были такие же, как у деда, глаза, грустные и влажные, мягкий характер, он был так же замкнут и молчалив. Раньше, когда заговаривали об их сходстве, дед отмалчивался или же неодобрительно качал головой, дескать, это плохо. Тогда Алиа удивляло это, и он недоумевал, что могло быть плохо в их сходстве.

Только после смерти деда он понял, что имел в виду Тада. Перед смертью старик часто сетовал на судьбу, говорил, что в жизни надо быть волком и что честного человека принимают за труса... Тогда Алиа понял, что симпатии деда на стороне Гуджи. Дедушка называл Гуджу человеком «сегодняшнего дня». Алиа же был другим. Как-то раз, еще до смерти брата, Тада подозвал к себе Алиа: «Когда живешь так долго и смерть не приходит, это может принести семье несчастье, очагом могут овладеть злые духи!» — сказал он как-то и виновато уставился на внука.

Таду мучила странная болезнь: пальцы ног, ступни и пятки покрывались нарывами, шелушилась и облезала

кожа... Сначала старик не обращал на это внимания, думал, что пройдет, но постепенно ему стало трудно передвигаться, и он обратился к врачам, начал применять мазь Пачкория... Но никакие средства не помогали, состояние его все ухудшалось... Только в солнечную погоду он спускался с помощью Алиа во двор, чтоб погреть старые кости. Все остальное время он проводил в своей комнате, три раза в день мыл ноги и менял повязки, но от тошнотворного запаха в комнате невозможно было избавиться.

Если раньше старик отмалчивался, то незадолго до смерти уже громко проклинал свою судьбу. Может, чувствовал близость конца... Рассказывая про гибель единственного сына, дед боязливо озирался по сторонам, как бы опасаясь того, чтоб не заговорили камни, не услышали стены... Трагическое время оставило глубокую рану в его сознании. Брат не щадил брата, сосед — соседа, и этого никак не мог объяснить себе Тада.

Может, поэтому и ушел он в себя, замкнулся.

Много было общего с дедом у Алиа. Он сознавал это и болезненно переживал.

«Таким уродился, ничего не попишешь», — думал он, понимая, что природа обделила его тем, чем с лихвой был награжден брат. Вот и мечтал он быть таким же смелым и сильным, отчаянным и бесстрашным, как Гуджа. Он часто терпел незаслуженные обиды от окружающих, проглатывал их, как слюну. Так почему же он так переживает обиды, оставшись наедине с собой...

Не раз ночью, перед сном, он зарекался, что с завтрашнего дня начнет новую жизнь, но наступало утро, такое же, как и предыдущее, как и сотни других, и ничего не менялось.

Потом... Потом убили Гуджу.

Двенадцать лет Алиа провел, как в кошмарном сне.

Может, и вся его жизнь — тридцать два года — была кошмарным сном и ничем больше?!

Когда его спрашивали: «Как дела, как жизнь», Алиа не знал, что ответить, а спрашивавший с таким участием смотрел ему в глаза — словно пожалуйся Алиа, и все его проблемы решат другие. Не было в его лексиконе таких понятий, как «счастливый день», «блаженная минута» или «сладкая жизнь». Вокруг так просто и повседневно говорили о счастье, будто оно, это счастье,

— река, протекавшая рядом, несущая блаженство и радость, а Алиа не замечает ее, кружится на месте, как запутавшаяся в водорослях щепка... А может, все то, что он видит вокруг, и есть жизнь, счастье, и он попусту скулит, не принимая этого, не понимая, как слепой щенок?! Во многом не мог разобраться он, и ему никак не удавалось освободиться от странного чувства, которое и в своем доме делало его чужаком, бедным родственником, которого только и терпят из милости. Робость и застенчивость были врожденными чертами Алиа, и он не мог от них избавиться до сегодняшнего дня. Но сейчас, надев рубашку брата, он убеждал себя, что он уже не тот, прежний Алиа...

Было уже темно, когда Алиа достиг города.

Он остановился у знакомого дома.

Проходя мимо этого дома, Алиа всегда поглядывал на угловое окно третьего этажа.

Два года назад, поздно ночью, Алиа возвращался с вечеринки. Он устало брел по пустынной улице и мечтал о такси.

Из затемненного здания театра вышла молодая женщина и быстро пересекла улицу.

Алиа прижался к забору, уступив ей дорогу.

Женщина прошла мимо, стуча каблучками, но вдруг остановилась и, красиво вскинув голову, спросила:

— Ведь ты Алиа?!

Он смущенно улыбнулся.

Это была Ано. В городе ее знали все. Такие женщины всегда на виду... Их жизнь вызывает восторженную улыбку одних, иронию и презрение — других, но они всегда в центре внимания.

Ано была единственной дочерью богатого торгаша и женой блатного парня, отбывавшего срок. Но Ано не больно переживала за мужа, ее часто видели в обществе молодых людей, разъезжавших на автомобилях. В городе поговаривали, что муж отказался от свидания с ней, хотя она и приехала к нему за несколько тысяч километров, и выпроводил ее обратно...

Кстати, Ано была вполне независима от богача отца и «авторитетного» мужа. Она работала секционером в ювелирном магазине и неплохо подрабатывала.

Алиа не был знаком с ней, хоть и видел ее раза два



на похоронах, и его очень удивило то, что ей известно его имя.

Не дождавшись ответа, Ано взяла Алиа под руку, как старого знакомого, и попросила проводить ее до дому.

— Это недалеко, — сказала она и, как бы боясь получить отказ, потянула Алиа за рукав. — Я живу в двух шагах...

Всю дорогу она не смолкала и прижималась к растерянному Алиа, а потом пригласила его к себе в гости.

У нее была двухкомнатная, отлично отделанная квартира в центре города. Алиа поразило великолепие обстановки. Ано провела его в спальню. На окнах висели фиолетовые с оборками шторы до самого пола; у стены — широченная кровать с львиными головами по углам и мощными упирающимися в пол ножками; подле кровати — причудливый торшер... Напротив кровати висел огромный, на всю стену, гобелен, изображавший льва с вихрастой гривой и каплями крови на когтях...

Потом, лежа в постели, Алиа вновь увидел льва и его глаза забегали. Свирепый большеголовый зверь с окровавленными когтями ужаснул его, заставил поглубже зарыться в шелковое одеяло.

Ано лежала рядом и с наслаждением курила.

— Знаешь... — начал было Алиа.

— Что? — равнодушно спросила она.

Пепел упал на ее обнаженную грудь, Ано встрепенулась и, смахнув его, присела в постели.

— Ничего, — улыбнулся Алиа.

— Говори! — велела она, содрала с Алиа одеяло и отпихнула его ногой в сторону. Потом удивленно воскликнула: «Какой ты тощий!», — и прижалась к нему. Он чувствовал ее дыхание, тяжелое и теплое, и по его телу пробежал сладостный и щекочущий озноб. Обняв ее, Алиа стал целовать ее шею, плечи, грудь...

Он был готов вновь раствориться в ней и уйти с головой в дурманящую бездну, как что-то обожгло ему спину, остудило кровь...

Алиа оглянулся. Лев угрожающе навис над ним и, как бы готовясь к прыжку, весь напряжился. «Сейчас он бросится на меня...» — подумал Алиа и понял,

что не сможет взять себя в руки... Он отстранил Ано и лег на спину.

— Что с тобой? — шепнула она.

— Я... — он отвел взор от гобелена и кашлянул.

— Что-нибудь не так? — в ее словах сквозила Ironия.

Алиа обиделся, но потом попытался отшутиться.

— Вот это... Как его?.. — пожал плечами и опять кашлянул. — Постой, я погашу свет...

— Почему? — удивилась она.

— Потому что... — он глянул на гобелен. — В общем, мне неприятно смотреть на этого льва, — грубо сказал и, то ли стесняясь своих слов, то ли своей наготы, схватился за одеяло.

— Дурачок! — расхохоталась Ано. Как бы вторя ей, кровать под ними заскрипела пружинами, и этот скрип ужаснул Алиа. Ано легла на живот, подперла ладонями подбородок и заговорила:

— Знаешь, порой мне кажется, что он держит меня в своих лапах, таскает из угла в угол по комнате и разрывает на части... Это так здорово!

Алиа недоуменно уставился на нее. Комок подступил к его горлу, и он крепко стиснул зубы, словно сдерживая слова, которые могли оскорбить ее... Ему трудно было избавиться от странного и тошнотворного чувства, появившегося внезапно. Его стала раздражать эта распутная женщина с обнаженной грудью, обстановка ее жилища.

— Что с тобой?

Ано вытянула губы трубочкой и забарабанила пальцами по его груди. Алиа заметил, как изменился цвет ее глаз, они стали холодными и невыразительными, как чешуя мороженой рыбы. В эту минуту она напоминала готового опуститься на жертву стервятника.

Она перевернулась на бок, вытянула ногу и уставилась на нее.

— Неужели я тебе не нравлюсь? — спросила с гордостью и скрытым интересом.

Алиа покраснел... Молча отвел взор в сторону и уставился в потолок.

Ано обиженно откинулась в постели, потянулась за огромной пепельницей, стоявшей на торшере, поудобнее поставила ее себе на грудь и взяла сигарету.

Алиа взял спичку и подал ей огня.

— Знаешь, почему я привела тебя сюда? — вынув стив из ноздрей дым, спросила Ано.

— Нет, — ответил он удивленно.

— И не узнаешь никогда! — презрительно фыркнула она и ушла в размышления.

\* \* \*

Город, в котором они жили, очаровывал приезжего чистыми, ухоженными двориками, красивыми домами с резными балконами, фруктовыми садами и огородами. В воздухе пахло морем, хвойным и цитрусовым ароматом. Но был еще один запах, который трудно было определить сразу. Побродив с утра до вечера по городу, человеку становилось ясно, что это за запах... Это был запах денег, который присутствовал во всем. Деньги определяли место человека в обществе, круг его знакомых, друзей; на свадьбу ли, на похороны, здесь повсюду полагалось приносить деньги. Деньги могли освободить человека из тюрьмы, и они же упекали его за решетку. Гость совал под подушку новорожденного младенца купюру, и у покойника, в остывших пальцах, тоже торчала аккуратно сложенная сторублевка...

Желание заработать деньги выводило юных горожан на заработки по воскресеньям в еврейский квартал. Кому дров наколоть, кому набрать воды или помочь в хозяйстве. Конечно, были и такие, которые жили на одну зарплату. Но и они во время торжества или горя поступали как остальные — платили, сами же были вынуждены отказывать себе и своим близким в самом необходимом... Гостеприимство и взаимопомощь были поставлены в городе на широкую ногу, и неписаный закон этот имел здесь большую силу, чем закон юридический.

Кем же был Алиа?

Простым шофером, работягой, крутившим с утра до вечера баранку старенького грузовика и, следовательно, никем для Ано. В общество, в котором она вращалась, Алиа попадал лишь раз в пять лет, и то всегда горько сожалел об этом. В кругу этих людей он чувствовал себя чужаком, лишним. Только тогда он вспоминал про свои пропитанные мазутом ладони и гряз-

ные ногти и неловко ерзал на месте, не зная, куда деть руки...

— Нет, все-таки скажу... — вдруг заговорила Ано. — Я любила Гуджу... В тот год я кончала музыкальную десятилетку. Гуджа нравился нескольким девочкам из моей группы, и мы специально ходили мимо «биржи», чтоб поглядеть на него. Если нам это удавалось, мы потом долго обсуждали это событие, и каждая из нас загадывала желание. После встречи с ним ночью я не могла сомкнуть глаз, все думала о нем. А Гуджа... Он даже не здоровался со мной, для него я была ребенком. Одна из моих подружек была с ним знакома. Гуджа был приятелем ее отца, и во время прогулок мимо «биржи» я старалась идти с ней рядом. Он здоровался с ней и спрашивал о ее родителях. На меня он не обращал внимания, только кивал, прощаясь. Помню, как я завидовала своей подружке. И не я одна, но и все остальные... Когда Гуджа смотрел на нее и улыбался, я готова была растерзать подружку... Узнав, что он убит, я с трудом дотащила до дому, ноги не повиновались. Я заперлась в своей комнате и так разревелась, что родители чуть не сошли с ума. Потом целых три дня я не выходила на улицу, — Ано раскашлялась. Придерживая одной рукой на груди пепельницу, другой прикрыла рот. Наконец, отложив пепельницу в сторону, успокоилась. — По сей день не могу разобраться — действительно я его любила или это было всего лишь детским увлечением. Возможно, меня ослепляло его имя, окруженное каким-то тайным ореолом, произносимое со страхом, трепетом и почтением. Со мной в классе учился племянник Бондзи. После смерти Гуджи я так его возненавидела, что когда однажды он потянул меня за косу, я разбила о его лоб чернильницу, и потом он целый месяц ходил с забинтованной головой. Была я и на суде. Видела, как ты побежал, когда подъехал «черный ворон», двое мужчин схватили тебя и затащили в подъезд. Помню, как плакала ваша мама... Тогда мне хотелось отомстить за Гуджу, выцарапать убийце глаза. В зале я решила протиснуться сквозь толпу и плюнуть ему в лицо, но не смогла двинуться с места и расплакалась. — Вдруг Ано схватила Алиа за локоть и впиалась в него ногтями. — Я бы на нем живого места не оставила... — Потом, чуть успокоившись, добавила: —

Когда я тебя встретила на улице, все это всплыло в моей памяти... Сколько лет прошло?

— Девять... Нет, десять.

— Как летит время.. — Она грустно улыбнулась. — Ты удивлен?! Признаться, мне и самой трудно объяснить свое поведение. А может, и не стоит его объяснять, искать каких-то оправданий... Там, на улице, ты стоял такой жалкий и беспомощный, как выгнанный из дому пьяница, и вдруг мне показалось, что если я подберу тебя, лягу с тобой в постель, ко мне вернется то время, и я помолодею на целых десять лет... Чушь все это, конечно... А теперь ступай. — Голос ее звучал твердо. — Быстренько оденься и уходи, убирайся и никогда не вспоминай сегодняшнюю ночь, слышишь, и не оглядывайся назад.

За два года Алиа никак не мог позабыть эту встречу, и каждый раз, проходя мимо дома Ано или ювелирного магазина, где она работала, ему хотелось встретиться с ней взглядом. Иногда он даже сомневался, не приснилось ли ему все это во сне.

В двух шагах от Алиа остановился грузовик.

Из кабины высунулся шофер и позвал его.

Ослепленный светом фар, Алиа не узнал зовущего.

— В чем дело? — грубо спросил он и еще раз взглянул на знакомое окно.

— Домой не едешь? — смущенно поинтересовался водитель.

— Нет, — отрезал Алиа и зашагал по тротуару.

— Как знаешь, — буркнул шофер и тронул машину.

Различив номерной знак удаляющегося автомобиля, Алиа понял, что его окликнул Гури, дежурный шофер их гаража.

Несколько лет назад Гури пригласил Алиа на свадьбу. В день свадьбы Алиа встретился с приятелями и изрядно выпил. Поэтому он попал к Гури лишь на другой день. Тогда же пришел их директор — Лео. «Хозяина» как почетного гостя усадили в гостиной, на втором этаже. Алиа же, вместе с помогавшими по хозяйству родственниками и соседями, — в затхлой и темной каморке, набитой тарой, корзинами с хлебом и мясом.

Алиа вскоре опьянел, и ему захотелось объясниться с «хозяином», на которого он держал обиду. Месяцем

раньше получили новую машину, которая по очереди полагалась ему, но Лео посадил на нее другого. Тогда Алиа не на шутку обиделся на директора, но промолчал. Сейчас он решил выложить «хозяину» всю правду.

Алиа был по-своему прав. До каких пор можно молча терпеть несправедливость, — думал он, поднимаясь по лестнице.

Кутящие встретили его дружными возгласами, и он смутился.

«Хозяин» даже привстал и улыбнулся Алиа. Ему подали стул, спросили о здоровье, и все это так растрогало Алиа, что он тут же позабыл, зачем поднялся.

Застольем руководил Лео. Вернее, как выяснилось, вначале тамадой был седовласый педагог, родственник Гури, но разгоряченный вином «хозяин» сместил его.

Алиа осушил несколько стаканов и, осмелев окончательно, подсел к «хозяину».

Лео не обратил на него внимания.

Вдруг Алиа схватил его за рукав пиджака, потянул к себе и обозвал свиньей.

Лео замер, побледнел и наострил уши, желая понять, расслышали ли слова подчиненного сидящие за столом. Потом успокоился и даже улыбнулся Алиа...

Улыбка «хозяина» отрезвила Алиа, его словно окатили ушатом холодной воды. На миг он даже усомнился, действительно ли оскорбил директора.

— Простите... — пролепетал он и свесил голову.

— Ладно уж... Но смотри, не пей больше! — успокоил его Лео и прижал его голову к груди в мощном объятии.

На третий день после свадьбы «хозяин» вызвал Алиа к себе в кабинет и списал его машину, но новую не дал. Целый год проболтался Алиа без дела и наконец, потеряв терпение, отправился к Джоджи с просьбой похлопотать за него. В городе знали и уважали Джоджи, и Алиа надеялся, что «хозяин» ему не откажет. Он не ошибся. Вскоре ему действительно дали машину, не новую, правда, но Алиа было уже все равно.

Поздней ночью Алиа шел по улице. Шагал уныло, рассеянно переставляя ноги. Так идет по знакомому проулку к калитке корова, голодная и исхудалая. Идет в свое стойло, где в яслях ее ждет корм, а в ведре — вода...



Остановился у длинного строения барачного типа. Здесь жила Ольга. Она занимала две небольшие комнатки, а за постой платили поочередно, она и Алиа.

После того, как у Ольги родился сын, Алиа приходил к ней чаще, всегда пьяный, поздно. Проведя с ней ночь, он уходил ранним утром, словно опасаясь, что его увидят.

Ольга настолько привыкла к его пьянству, что, пожалуй, удивилась бы, явись он трезвый.

Мать не раз предлагала ему привести Ольгу домой, но он и слушать не хотел. И не только из-за прошлого Ольги. Он и сам не мог понять, почему не ходит к ней трезвый, не вспоминает о ней днем на работе. Но стоило ему выпить стакан-другой, как его тянуло на окраину, в комнату, зимой и летом пропитанную запахом Ольги, он стремился сюда, к ней, в тишь да уют, чистую и мягкую постель...

Когда родился ребенок, Алиа не появлялся целых три месяца. Ольга пришла к нему в гараж и со слезами на глазах молила хоть раз взглянуть на сына.

Алиа вспылил тогда, сказал, что если она забыла, он ей напомним адрес отца ребенка, вскочил в машину и погнал ее как сумасшедший.

Он не верил в верность Ольги и не скрывал этого. Он помнил, как однажды она пожаловалась, что он всегда пьян, а ей хочется иметь нормального ребенка, а не дебила... Слова Ольги были настолько неприятны ему, что он дал ей затрещину.

После встречи в гараже Алиа весь день ездил по городу, не находя себе места. А на следующий же день, напившись, он зашел к ней.

С тех пор они и словом не обмолвились о том, кто отец ребенка. Алиа по-прежнему приходил к Ольге пьяным, но почти никогда не смотрел в сторону ребенка, держался так, словно в люльке лежит не младенец, а завернутая в пеленки кукла. Изредка какая-то дрожь сжимала ему сердце, и он украдкой поглядывал на малыша (Ольга нарекла сына Алиа, это был курносый крепыш, не похожий ни на кого из рода Беришвили. Впрочем, ребенок не был похож и на того человека, которого подозревал Алиа). Так оно было или иначе, но Алиа привык к Ольге, к теплой комнате, наполненной



ее запахом, и именно сюда вела его пьяная дорога, как реку — в море, а вора — в тюрьму...

Напившись, Алиа становился злым и раздражительным. Все ему было не так, и он срывал свою злобу на Ольге. В такие минуты он ненавидел ее, да и себя; проклинал свой характер, застенчивость и трусость, нерешительность. Все это тяжким бременем сдавливало ему грудь и искало выхода. А выход находился один — он нещадно избивал Ольгу, порой — до полусмерти. Сама Ольга не знала, за что ей попадает, да и не могла разобратся, защищалась как могла, убегала от него, а как-то раз дажехватила его тарелкой и рассекла ему бровь. Лишь плач малыша приводил их в себя. Они остывали и через какое-то время забывали про ссору. Наутро они держались так, словно ничего не произошло.

И все-таки, почему он избивал Ольгу? Ведь, если она ему приелась, он мог в любой момент ее бросить. Никто не мог ему помешать сделать это. Да и сама Ольга, пожалуй, не стала бы препятствовать этому. Она была молода, красива и легко нашла бы себе друга. Да и зарабатывала прилично и вполне могла прокормить самостоятельно себя и сына.

Так оно было или иначе, но и сам Алиа привык к подобной жизни. Привыкла и Ольга.

Может, она любила Алиа? Когда после очередного скандала, усталый и протрезвевший, Алиа ложился в постель, Ольга, закончив все дела по дому, ложилась рядом и бывала нежной и ласковой...

Дверь была на замке.

Он давно не приходил к Ольге и подумал, что она и сегодня не ждет его. Неподалеку жила подруга Ольги, которая работала с ней в парикмахерской. Женщины часто ходили друг к другу, гадали на кофейной гуще, сплетничали, иногда выпивали. Алиа запрещал Ольге пить, он не любил пьяных женщин и то ли из-за этого, то ли из-за малыша Ольга не пила.

Подойдя к дому Ольгиной подруги, Алиа заметил в окне свет. Он ускорил шаг. Чтоб попасть в дом, надо было пройти мимо окна, обогнуть глухую стену и подняться по небольшой лестнице.

Алиа остановился под окном.

Из комнаты доносились приглушенные голоса и музыка...



На ступеньке перед дверью Алиа застыл и прислушался.

В комнате смеялись, и смех этот усилил его раздражение. Он пнул ногой дверь.

Дверь с шумом распахнулась, в комнате что-то задребезжало, Алиа показалось, что разбилась посуда.

Двое мужчин подозрительной внешности, лет сорока-сорока пяти вскочили на ноги и изумленно уставились на незваного гостя.

Один из них, рыжий, с обгорелыми ресницами и кошачьими глазами, пришел в себя первым и, скривив в улыбке губы и опершись руками на пустую бутылку, выдавил:

— Мы так, браток, старые друзья...

Седой многозначительно положил руку в карман.

— Не будем из-за баб ссориться! — вновь заговорил рыжий и в ожидании ответа уставился на Алиа. Потом, узнав его, воскликнул: — Да ведь ты брат Гуджи! — и громко рассмеялся.

Алиа не ответил. Он узнал рыжего. Тот как-то приходил к Гудже, и брат говорил, что он пропащий человек, заядлый наркоман.

— Посиди с нами, выпьем, поговорим! — указал на стул седой.

Ольга закрыла руками лицо и расплакалась.

Какие у Алиа могли быть к ней претензии? Ведь сегодня он впервые пришел к ней трезвым. Он и не представлял себя рядом с Ольгой другим, только пьяным, разгоряченным и взбудораженным алкоголем. Порой ему даже казалось, что трезвый он не сможет быть мужчиной...

Что его привело сюда сегодня? Может, курносый малыш, так же похожий на него, как грузинские буквы похожи на китайские иероглифы, или вино — на водку?

Он молча повернулся и бегом спустился с лестницы...

Солнечное субботнее утро. Безлюдный центр города. Улица полита и подметена. Лужицы на асфальте, преломляя солнечные лучи, отдают серебром.

С моря дует ветерок, приятно покалывая. Самого моря не видно, но чувствуется — оно рядом, за пер-

вым же переулком, в потаенной утренней тиши слышится его дыхание.

Алиа идет к морю, опустив голову, не замечая ни политого водой асфальта, ни яркого, но еще не греющего солнца, не слыша мерного дыхания воды. Он идет, как путник по пустыне, потерявший надежду на то, что тропинка выведет его к колодцу, как человек, вверивший свою судьбу провидению...

Вдруг останавливается. Взор его застывает на уличных часах, которые показывают без малого десять.

Ночь Алиа провел в городском парке, на скамейке. Там его и застал этот милиционер. Конечно, он мог забрать Алиа в вытрезвитель и закончить ночное дежурство еще одной «добычей», но узнав его, милиционер вспомнил Гуджу и пожалел его, тем более что, разбудив Алиа, понял, что он успел протрезветь. Тогда блюститель порядка предложил Алиа отправиться домой, а сам, досадуя на свое мягкосердечие, покатил дальше.

Алиа ускорил шаг.

«Незачем было обращаться к Барону, — думал он. — Сразу же надо было сказать Джоджи, он бы и дал пушку. Жаль, что я не прикончил Бондзи на суде...»

Вчера, побывав у Ольги, Алиа пошел домой. Но в дом не зашел, а прижавшись к забору, как вор, долго смотрел на окно матери. У нее горела лампа. Видно, она ждала его.

Вдруг он услышал шаги. Ему ни с кем не хотелось встречаться, и он еще плотнее прижался к забору.

Увидев его, прохожий остановился.

Алиа узнал его. Это был Гванджи, сосед и школьный товарищ. Гванджи работал в пекарне и всегда возвращался домой в это время, неся детям свежеспеченный душистый хлеб.

Гванджи укоризненно взглянул на Алиа, подумав, что он пьян, буркнул что-то и прошел, не заговаривая с ним, мимо.

Алиа подошел к кофейне.

«Что меня привело сюда?» — удивился.

Кофейня была на замке; вокруг — ни души, и Алиа подумал, что еще рано.

Морская синева и свежий ветерок отрезвили его.

Он решил посидеть на скамейке и направился к аллее платанов, разделявшей широкую прибрежную улицу.

Со скамейки, на которую сел Алиа, виднелся ювелирный магазин Ано.

Он был открыт, у входа стояли «Жигули» с распахнутой дверцей.

Узнав машину по номерному знаку, Алиа встал и быстро пошел по улице. Пройдя шагов двадцать, остановился, ощупал рубашку Гуджи, которая обжигала ему грудь, затрудняла дыхание.

Вот он, убийца брата, всего в нескольких шагах от него. Если он не решится сейчас и пройдет мимо, то уже никогда не сможет отомстить, а значит... Завтра, послезавтра и потом, всю жизнь, он должен будет сторониться Бондзи, избегать его, прятаться. Нет! Он готов! Надо действовать. Сейчас, или никогда.

«Бондзи заходил ко мне вчера...» — вспомнились слова Барона. Алиа шарил вокруг взглядом. На чистой и политой мостовой не было ни одного камня.

— Мать твою, Барон! — громко выругался Алиа и огляделся, желая удостовериться, что за ним никто не наблюдает. Вокруг никого не было, и тяжесть отлегла от его сердца, но преждевременной оказалась радость. Вдруг он почувствовал, что пристальный взгляд, словно взгляд сатаны, сверлил ему спину.

Алиа резко повернулся.

У скамейки, на которой он сидел минуту назад, стояли какие-то люди. Они не сводили с него глаз.

«Почему они так смотрят на меня?» — подумал Алиа и провел ладонью по лбу, как бы желая убедиться, что все это не мерещится ему.

Нет. Они действительно стояли там, у скамейки. Алиа узнал седого. Это был Барон!

Но с ним был Джоджи, и это удивило Алиа больше. Потом он узнал и третьего, но не мог вспомнить его имени.

И все же, почему они так на него смотрят?

Джоджи, Бондзи, Барон, крупная сумма денег, которую Бондзи требовал у друзей Гуджи... Все это смешалось в его голове...

Алиа застыл на секунду, принимая какое-то решение. Потом быстро пересек улицу.

Неподалеку от ювелирного магазина находилось

двухэтажное здание телеграфа, под лестничной клеткой которого помещалась сапожная мастерская.

Алиа вбежал в подъезд.

Седой ассириец-сапожник с усами щеткой глянул исподлобья на ворвавшегося в мастерскую Алиа, но тот не обратил на него внимания. Его глаза искали другое. На верстаке, сложенные в аккуратную кучку, блестели наточенные сапожные ножи. Алиа схватил самый большой нож и попятился к двери.

Прижав к груди ботинок с отставшей подошвой, сапожник с ужасом в глазах смотрел Алиа вслед.

У ювелирного магазина Алиа остановился. Минуту стоял неподвижно. Потом взмахнул ножом, рассекая им воздух, словно крестясь, бросился к двери.

Бондзи стоял спиной, облокотясь на прилавок, и непринужденно болтал с Ано.

Ано, увидев Алиа, вскрикнула... Алиа улыбнулся ей, вернее, по-лошадиному оскалился, с диким воплем бросился на Бондзи (так бросается в пропасть человек, потерявший всякую надежду на спасение и желающий погибнуть достойно) и со страшной силой вонзил нож в шею Бондзи. Тот даже не успел оглянуться. Лишь за секунду до удара, словно бы реагируя на испуг Ано, повел левым плечом...

Кровь мгновенно окрасила ему шею, потекла по спине.

Ано отпрянула назад, к зеркальной стенке, прикрыла руками рот, сдерживая крик.

Второй удар Алиа нанес в спину...

Потом еще один.

Широкая спина Бондзи оказалась настолько мягкой, что нож свободно погружался в плоть, по самую рукоять... Как все просто! Алиа уже ничто не пугало. Он даже подумал, что зря боялся, и эта мысль еще больше ожесточила его.

Бондзи опустился на колени, из последних сил цепляясь за край прилавка. Он и не пытался оглянуться, словно ему запретили это или он не хотел увидеть того, который с таким ожесточением вонзил в него нож... Может, опасался, что образ убийцы, отразившись в его глазах, навсегда останется в них, как он слышал в детстве, и он не хотел этого. А может, хотел искупить свои грехи смирением?.. В предсмертный час он предпочи-

тал видеть Ано... Пусть в его глазах запечатлется навеки ее образ, но не образ того жалкого и несчастного человека, каким был в его представлении Алиа...

Бондзи рухнул на пол, корчась в предсмертной судороге, но все еще упрямо стискивая зубы, как бы боясь выпустить изо рта пузырящийся поток крови...

Через минуту он был мертв.

Алиа выскочил на улицу.

Руки и грудь его были в крови.

Яркое солнце ослепило его.

Улица была пустынна.

А солнце так светило, словно ничего не произошло.

Стрелки на часах показывали десять.

Алиа остановился. Потом поднял над головой окровавленный нож и крикнул, словно оповещая о случившемся тех, кто, притаившись в аллее, терпеливо дожидался исхода.

Но у скамейки никого не было.

Куда они подевались?!

Не приснилось ли ему все это?

Он поднес руки к глазам...

На них была кровь.

Не приснилось, значит. Он точно узнал Джоджи и Барона (про третьего Алиа уже не помнил)... Несколько минут назад они стояли у скамейки, всего в двадцати шагах от него.

Судорожно заработала голова. Ему показалось, что Барон (а может, все они вместе) приволок его сюда, на это место, всучил в руку нож как единственный путь к спасению и исчез сам...

Но куда?

В преданности Джоджи Алиа не сомневался, но ведь и он отвернулся от него вчера утром.

Он сорвался с места, пересек улицу и побежал по тротуару вдоль аллен.

Он должен найти Барона во что бы то ни стало. Он был готов спуститься за ним в ад, в самое пекло, достать его из-под земли... Он уже стал пособником дьявола, близнецом Каина, и пока в его теле не растопилось, не растворилось адское зелье, он должен отомстить!

Убить Барона!

Он презирал его не меньше Бондзи. Ему предстояло

вновь обагрить нож гнилой и подлой кровью Барона. Ничто его не сдерживало, и он не помнил, что такое страх. Он понял, какую роль взял на себя Барон. И не только вчера и сегодня, когда поглядывал на него из аллеи, а вообще, с самого начала!

Тут он услышал вой сирены и, свернув с тротуара, бросился в сквер.

Нет, уже никому его не остановить!

Тут он вспомнил про кофейню...

— Убью! — закричал и побежал дальше.

— Алия!

Он остановился и оглянулся.

Это был милиционер. Тот, которого он видел ночью. Тебя еще не хватало! — подумал Алия и, чтоб сократить путь, оставшийся до кофейни, прыгнул через низкий звкалиптовый газон...

Прыжок оказался неудачным. Он коснулся коленом асфальта, стараясь сохранить равновесие, подставил правую руку и упал.

Что-то жгучее кольнуло его в живот, так остро и неожиданно, что у него вырвалось: **мама!**

Кофейня была перед ним.

Алия смотрел на нее так удивленно, словно видел впервые.

Он сжался в комок и откинулся на спину — из его живота торчала ручка сапожного ножа.

Алия вытянул вперед правую руку, глянул на нее. Потом растопырил пальцы и попытался шевельнуть ими.

Рана не пугала его. Ему попросту некогда было о ней думать.

Выступившая на животе кровь сочилась двумя тонкими струйками.

Во рту пересохло, и что-то больно сдавливало горло.

Он услышал странные, похожие на мычание звуки и оглянулся по сторонам...

Вокруг никого не было.

Вновь услышав эти странные звуки, Алия понял, что мычит он сам.

Тут к нему подбежали люди и окружили его...

Милиционер стоял ближе других, рядом с ним — усатый сапожник.

С трудом разжав стиснутые зубы, Алия выдавил улыбку.

— Довел парня! — сказал кто-то и скверно выругался.

— Довели! — отрезал другой.

Алиа глянул на последнего, но не узнал его.

Появились люди в белых халатах.

Алиа казалось, что какой-то зверь забрался к нему в живот и старался изорвать в клочья его внутренности. Потом лица стоявших вокруг потускнели и отделились. Он забыл про Бондзи и Барона, да и рубашка брата не жгла ему тело. Он даже не мог вспомнить лица матери...

Из-под его расстегнутой сорочки виднелась бесцветная рубашка брата, обогренная не то его, не то Бондзиной кровью.

Когда Алиа положили на носилки, он посинел, и на его лбу выступили крупные капли пота. Исчезла боль, гнездящаяся в животе, растворилась, и Алиа с облегчением глянул на небо.

По небу плыли две сизые тучки. Алиа облизнул иссохшие губы, как человек, жаждущий воды...

Потом и те тучки поблекли, растаяли...

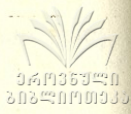
Перевод Георгия САРТАНИЯ.



## Е в а

В теплом саду, в траве, у корней  
Я — берег, а ты — река.  
Не покидай ладоней моих  
Ну хотя бы на миг.  
Я неистовой тебя знал, но в памяти навсегда  
Тихую хочу сохранить, тихую, как сейчас...  
Вновь вижу, как нисходишь с небес  
И бредешь к дому,  
Как поют под пятой бубенцы ливня.  
Словно во сне одеваешь тело в длинный туман  
И от дома к небу бредешь, от неба — к дому  
Каждый раз дорогой крутой, как на Голгофу.  
Дверью настезь скрипит твоя молельня,  
И внутри черно, и темень над нею,  
Чьи поля, ответь, ты поила влагой,  
Тело изваяв в глине и в листьях?  
Видю ложе твое — влажное русло.  
Силой волоку, пеленаю туго.  
Снова ложе твое — влажное русло —  
Набухает вмиг и грозит потопом.  
Почему к земле тянешься извечно?  
Почему к земле устремляешь тело?  
В мягкой тишине падаешь на спину  
И, призвав меня, ждешь, глазами в небо?  
Разве же земля дает тебе силы?  
Разве же она велит и внушает  
Так меня объять, чтобы затерялся?  
Ложе твое — твердь, пласт неколебимый,  
Корни — на четыре стороны света!  
И питает их млеко вод подземных.  
Ева! Никогда внятно те минуты  
Я не вспоминал и не вспоминаю.  
Словно в небесах, там врата разверзлись,  
И любой ценой проскользнуть я должен.



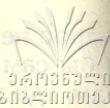


Мы лежим потом. И незнаемый кто-то  
Невесомый сон шлет нам ниоткуда.  
Чувствую, как он дышит в изголовье...  
Господи, люблю! В чем я провинился?  
Дай же мне приют у твоих коленей,  
Чтоб не выл, как пес, от тоски и страха.  
Из щедрот и мук слова не сложила  
Главное, свое...  
Почему не веришь в то, что ты сама  
Миру даровала?..  
Я люблю. Люблю! Почка любит почку,  
А скала — скалу. И когда весною  
Соки рвут кору на пути к истоку,  
Знает ли любовь, что она такое?  
Знает ли любовь, что она — покуда  
Рыбины ползут брюхом на пороги  
Выметать икру или передохнуть?  
Сводня ли она? Мать всея Вселенной?  
Заарканит вдруг! И соединяет...  
Только двое нас, алчущих под небом,  
Двое навсегда на груди пустыни,  
Двое, но и нам не понять друг друга.  
Силимся вотще разделить отчизну.  
Вспомни, миг назад мы брели нагие.  
Разве же не ты мне глаза открыла?  
Только жизнь я знал. Только это, Ева!  
Это ты меня научила смерти.  
Слышишь, оглянись, Ева, наши дети,  
Любящие мать, не подозревают,  
Что обречены на такую муку...  
Есть ли у дерев матери? У речек?  
А из чресел чьих вышли эти травы?  
Чьи они? Зачем? Разве же не жаль их?  
Почему им вслед — ни тепла, ни глаза?  
Ева, оглянись, в мире дети наши  
Бьются меж собой, изодрав ладони!  
И одно письмо о любви единой  
Пишут в свой черед, зажимая рану.  
Ева, обернись... Вслушайся... Вернемся!  
Пусть ответа нет и утешить нечем.  
Жалость не придет. Милости не будет.  
И не осознать сути этой муки.  
Ева, обернись, вслушайся... Светает.

Вырос первый луч за оградой ночи.  
Я бы сам ушел. Но куда, подумай?  
Там, где нет тебя, и меня не станет.  
Вслушайся в рассвет: там ребенок плачет.  
Он во имя нас спасся этой ночью.  
Скрипнула земли голубая люлька...  
Посмотри, к тебе он ручонки тянет!  
Ничего, что мал. Спросишь, он рассудит.  
Он отыщет нас снова друг для друга!..  
В пламени зари, на глазах рассвета  
Ты очулась вся. И встаешь беззвучно...

Перевод Владимира НИКОЛАЕВА





## ЯСТРЕБ

Господь отвернулся от него, не дав ему в жизни ни званий, ни почестей. Так и жил он, не ударяя палец о палец, день ото дня уставясь в небо и пересчитывая ястребов. Когда бы его ни спросили, сколько ястребов парит над городом, он, не задумываясь, отвечал: около сотни. Если же кто-то, не дай бог, начинал сомневаться в этом, он в подтверждение своих слов непременно приводил факты, выписанные из дневника городского летописца Ваню Пааташвили: да ты знаешь, что в старину над нашим городом каждый день клекотало 500 ястребов, а теперь и сотни не наберется?! На все он давно махнул рукой, вот только одно твердил: зовите меня по имени и отчеству — Давид Сергеевич. Ничего другого от окружающих он не требовал. Заметив на его лице радостное оживление, нетрудно было догадаться, что его кто-то назвал по отчеству.

Когда круглое, как мельничный жернов, солнце встало над землей и приводило в трепет его изношенную душу, он жадно вливался глазами в небесный свод и с наслаждением следил за полетом ястребов. А когда город медленно просыпался, Давид, шлепая стоптанными туфлями, направлялся к базару. Время от времени он останавливался и нагибался, чтобы впихнуть обратно в туфли выскакивающие при ходьбе желтые, как апельсин, пятки. Он обычно прихватывал с собой на базар литровую бутылку с водой и кружил около прилавка, уставленного разнокалиберными бутылками с водкой. Прищурясь, рассматривал продавцов, пытаясь найти среди них простофилю. Обнаружив такого, он нагло скрещивал с ним взгляд, брал в руки бутылку

и, с силой взбалтывая ее, нарочито долго считал образовавшиеся пузырьки.

На этот раз взгляд его остановился на женщине средних лет в пестром домашнем халате. Давид уже окончательно завладел бутылкой, когда торговка не выдержала и закричала:

— И что ты пристал к этой бутылке? Опохмелиться захотел?! Иди-ка ты отсюда, мне не до твоего «лечения»!

— Еще как вылечишь, милашка!

Эти слова еще больше распалили торговку.

— Отстань! Нашел тоже «милашку»!

— Милашка, водочкой торгуешь? — не смущаясь несколько, невозмутимо продолжал Давид.

— Нет, на твою небритую рожу пришла полюбоваться спозаранку!

— Смотри-ка, смотри! Летающая тарелка! — Давид, сощурившись, устремил взгляд ввысь и так артистично разыграл сцену, что торговка тоже закинула голову. Давид мигом сунул бутылку за пазуху. Когда же торговка, не высмотрев в небе ни тарелки, ни облачка, проворчала: «Тьфу ты, нашла кому верить — этому базарному скомороху...» — и обнаружила пропажу, она начала так пронзительно визжать, что у окружающих зазвенело в ушах. «Держи вора!» — вопила она. Не успевший улизнуть Давид стал уверять ее: «Да ты что, я не вор! Ястреб я, ястреб! А ястреб — птица хищная!» И, оглядываясь на толпу, стал оправдываться: «Ястреб я, а бутылка сама пристала к руке. А эта деревенщина разоряется на весь базар! На, держи свою бутылку!» — в сердцах поставил он на прилавок свою бутылку с водой. После этого он некоторое время stondронился базара.

Тянул Давид водку в одиночку, ни с кем не делясь: «Еще чего, чтобы моими трудами бродяги всякие пользовались!» Вот каким скупердяем был наш базарный пьяница.

Прошла неделя, и когда Давид вновь появился на базаре и ястребом пронесся мимо прилавков, директор базара шепнул ему: «Осторожней, Давид Сергеевич, в районе назначили нового начальника милиции! Так что гляди, я-то глаза закрывал...». Давид встряхнул головой, словно отмахиваясь от слов директора, изобразил

на лице насмешливую улыбку, но решил немедленно ретироваться.

— Ну что, попался! А ну давай бутылку! — схватил его за шиворот у самого выхода с базара участковый. Давида тотчас окружила толпа. Он считал себя ястребом и не больно жаловал это окружившее его скопление людей. Ему захотелось взлететь, и он устремил тоскливый взгляд в бездонную синеву неба.

— Именно такие позорят наш город! Ловить надворнишек! — поддержал участкового какой-то пожилой тип, плотно прилипший к базарным воротам.

— Иди, иди! Милиция в твоей помощи не нуждается! А если ты зрелищами увлекаешься, вот разберусь с милицией и исполню для тебя танец маленьких лебедей! — захихикал Давид.

— Знаю, каких ты лебедей станцуешь! Какой ты ястреб, такую и клетку тебе подберут! — пообещал участковый и дал Давиду крепкий подзатыльник.

— А все же, в чем я провинился, начальник?!

— Канареечка моя, засажу тебя в золотую клетку, чтоб перья никто не ободрал!..

— Не пойму я что-то твоих прибауток! За что берешь?

— За что? Да весь город о тебе говорит! Водку воруеть и подрываешь престиж нашего базара. Тебе что, этого мало?

Давид, словно спохватившись, хлопнул себя по лбу:

— Всю жизнь этого боялся!

— Пошли, пошли, — еще раз подтолкнул его участковый.

— Может, простишь его в последний раз? — вмешался широкоплечий молодой человек.

— С чего это я должен его прощать! — не терпящим возражения тоном сказал участковый.

— Во-первых, он уже в том возрасте, когда тюрьма его не исправит, а во-вторых, там, куда вы его направите, он взбаламутит молодых нарушителей.

— Целых тридцать лет возмись с ним, еле поймали с поличным, а ты — прости! Ты что, прокурор, чего не в свое дело встреваешь?

— Потому я встречаю, что воровство состоит из функций и аргумента, или же из субъекта и объекта. Водка — функция, а человек — аргумент.

— Не аргумент, а воришка!

— Да не воришка я, ястреб я, ястреб! — не пре-  
минул вставить Давид.

Широкоплечий продолжил:

— Вот я и говорю, водка — функция, а аргумент — этот человек. Аргументу нужна функция, следовательно, этому человеку — нужна водка, но равенства между ними, то есть денег, не существует. Но есть эквивалент денег — хитрость, которой так виртуозно владеет этот человек. Но хитрость, как мы здесь убедились, выявляется той же самой хитростью. Вот и вы хитростью, а не путем истины напали на след этого правонарушителя!

— Вы только посмотрите, как он ради воришки соловьем разливается! Только твоих проповедей не хватало! Этим людям большего и не надо! Ну-ка, Давид Сергеевич, давай двигай, а то...

— Начальник, какое время мне в тюрягу, мне сейчас четыре доски в самый раз...

— Иди, иди!

— Начальник, стар я уже, чтоб чему-то там научиться!

— Учиться никогда не поздно. Лучше поздно, чем никогда, — сострил участковый.

— Начальник, тебе бы лекции в университете читать, а не по этому грязному базару рыскать. — Давид ожесточенно почесал пятку и хихикнул: — Видали такое, прямо на пятке вылез ноготь. У меня иногда он вылезает, и если я его сейчас же не выдерну, то получу разрыв сердца. Так что, начальник, я сегодня не могу пойти с тобой, как видишь, по уважительной причине.

— Если даже рога вылезут на твоей пятке, все равно пойдешь в участок!

— Отстань, я с народом хочу побыть!

— Заткни свою пропитую глотку, урод несчастный! Нужен ты народу!

Представитель власти зацепил большим пальцем небритый подбородок Давида и слегка нажал на него.

— Это кто — урод?! — взъерошился Давид. — Да меня в свое время каменотес Датукишвили ваял из камня. Был бы я неказистый, мастер не стал бы на меня камень переводить!

— Начальник, отпусти ты эту водочную пиявку, матерью заклинаю! Из-за литра водки не лишайте не-

счастливого солнечного света! — повязанная платком женщина чуть не повалилась в ноги участковому.

Давид застыл в каком-то оцепенении, в его блестящих агатовых глазах стояли слезы.

— Начальник, прости!

— Прости!

— Прости! — раздавалось со всех сторон.

— Пусть будет по-вашему. А я пошел. Ну что ж, ястреб, народ снял с тебя оковы бесчестья, он же пусть и воздает тебе должное, — махнул рукой участковый и ушел.

— Давид, а сколько тебе лет? — шепелявя, как ребенок, спросил мясник Дито.

— Когда ты первый раз вместо килограмма мяса подсунул мне восемьсот граммов, тогда мне было двадцать пять. С тех пор прошло тридцать лет!

На слова Давида толпа весело расхохоталась.

Продавцы не унимались:

— Эй ты, ястреб, ну как сегодняшняя добыча?

— Делом займитесь! Не видите, какое пламя во мне полыхает! Ястреб я, ястреб, а люди за вора принимают. И что за народ пошел, только о том и думают, чтоб потопить кого-то. Наплюют другим в душу, чтоб скрыть свое уродство. Может, я ошибаюсь? — спросил он широкоплечего и подбодрил: — Давай, не стесняйся!

Не дождавшись ответа, он опять затараторил:

— Слушай, друг, скажи честно, ты вправду меня пожалел, или хотел порисоваться? Видишь этих людей? Все они в одном котле варятся. И все рады поизмываться друг над другом. Уж я-то знаю... И то знаю, что все они просто воробьи в этой жизни. И я бы мог им быть... Но мне клекот ястреба дороже чирикания воробьев! Ты видел, как ястреб охотится?.. Великолепное зрелище! У ястреба, заметившего жертву в кустарнике, хищно вспыхивают глаза, он стремительно взмывает ввысь, всколыхнув небесную синеву, и исчезает из виду, словно небо его поглотило. И вдруг слышишь свист рассекаемого воздуха, жалобное верещание птички и видишь только летящие по небу перышки... Жалко птичку, конечно, но ястреб, на то он и ястреб! Спросил я себя однажды, от чего же он умирает? И воочию увидел, как в колючих кустарниках терзают его обессиленное тело лисицы и шакалы... — Давид замолчал и корявыми пальцами почесал пятку.

— У тебя что, правда ноготь на пятке? — спросил широкоплечий.

— Нужно же дать пищу базарному люду, а ноготь сам знает, где ему расти, — небрежно бросил Давид и повернулся к широкоплечему. — Будь человеком, ответь, ты в самом деле за вора меня принял? Ну и ну, разве я могу украсть? Ведь ястреб я, ястреб! Ты знаешь, сколько ястребов летало над этим городом? Эх, узнать бы, в каком небе они сейчас парят. По мне, так только ястреб и коршун красят небо, а то вороны что за птицы, только небо копят. Вот ворона точно воровка! Стащит с дерева орешек и довольна! А ястреб совсем другое дело!..

— Хочешь, я тебе ястреба принесу? — спросил широкоплечий.

— Эх, подержать бы его хоть один раз в руке, а потом можно и добычей ворон стать.

— Привезу тебе ястреба, из Мегрелии привезу, а пока прощай! — сказал широкоплечий.

— Постой, проводи меня до дому. Когда ты со мной, люди не осмеливаются приставать ко мне с дурацкими расспросами. Даже базарные зубоскалы попридержали языки, а то стоял бы я до сих пор посреди базара, как надломленное ураганом дерево.

На перекрестке стоял дом с аркой, от которого в разные стороны расходились улицы. Перед этим домом Давид остановился, присел перед зарешеченным подвальным окном, всматриваясь в непроглядную тьму помещения, потом просунул в решетку указательный палец и забарабанил по стеклу. Широкоплечий недоуменно глядел на Давида и ломал голову, кого он зовет? Наконец из темноты блеснула пара чьих-то глаз, и в окошке показалось щетинистое лицо мужчины лет сорока.

— Кола, сколько тебе сидеть осталось?

— Пять дней! — донеслось из темноты.

— Амнистия на тебя не распространяется? — добродушно спросил Давид.

— Нет же, нет! Сколько раз можно об этом говорить!

— И помилования не примешь? — не унимался Давид.

— Нет, нет! — потонул в темноте голос.



— Ничего не понимаю! Что тут происходит? — спросил широкоплечий.

— Что же здесь непонятного! Его зовут «Садись-Кола». У него своя персональная кутузка. Когда захочет, тогда и сядет. Сидит и сидит себе.

— Но почему, за что?

— Ну, например, когда у него даже в мыслях промелькнет что-нибудь грешное, он приходит в этот подвал и садится в «карцер». Он сам себе и судья, и прокурор. Для «Садись-Кола» адвокат еще не родился.

— У него, наверное, не все дома!

— Да как сказать! Отсидит он назначенный себе «срок» и ходит по деревням со строителями, работает честно, старательно. Глядя на него, даже лентяй воодушевляется.

— Может он пустит нас к себе? Мне не терпится с ним познакомиться!

— Хорошо, а что сказать, кто с ним хочет встретиться?

— Скажи, Торнике Бендукидзе.

Давид шагнул к калитке, Торнике последовал за ним. Навстречу им, злобно рыча, выскочил пес. Давид приласкал его, и пес жалобно заскулил, словно жалуясь на что-то.

«Садись-Кола» получил этого пса от тушинского пастуха за неделю работы. Он надеялся, что за время его добровольного заточения сторожевой пес не выпустит его. На первых порах пес яростно стерег «карцер», но поняв, что за закрытой дверью сидит его кормилец, перестал лаять. Однако «Садись-Кола» продолжает добросовестно отсиживать свой «срок».

— Кола, открой дверь! — позвал Давид.

— Еще не время! — раздался ворчливый голос Кола.

— Открой дверь! Амнистия на тебя распространилась! — пошутил Давид.

Наконец раздался скрежет отодвигаемой щеколды, дверь распахнулась и показался Кола. Огромные бычьи глаза внезапно разбередили в душе Торнике непонятную тоску.

— Что вам надо? — хриплым голосом проговорил Кола и тщательно протер глаза, словно снимая с них какую-то пелену.

— Кола, хватит сидеть. Думаешь, от твоего сиденья что-нибудь изменится? Выходи! С хорошим человеком познакомлю.

— Эх, знал бы ты, за что сижу, словом добрым меня не удостоил бы!

— Слушай, был бы ты в чем-нибудь виноват, участковый давно бы тебя захомутал. Я бы на твоём месте предпочел тюрьму, там хоть о хлебе насущном не пришлось бы думать.

Торнике горячо зашептал на ухо Давиду:

— Спроси его, если не секрет, за что он себя осудил?

— Кола, ты так и не скажешь, за что сидишь? Может, признание облегчит твою душу.

— Так и быть, скажу, выйду к вам на пятиминутное свидание, — проворчал «Садись-Кола». Шаркая ногами, приблизился он к сеточному забору. «За что же он так себя казнит? — думал про себя Торнике. — Может, он и в самом деле сумасшедший? Когда человек вобьет себе что-то в голову, его трудно переубедить. Он не хочет признаваться, что болен, до тех пор, пока кто-то не раскроет ему на это глаза...»

— Кто этот неизвестный? Чего ему от меня надо? — нарушил Кола ход мыслей Торнике.

— На базаре познакомились. Мой адвокат. Зовут Торнике.

— Адвокат тебе не поможет. Все знают, что ты водку воруюешь!

— Ястреб я, а не вор! Если ты в самом деле считаешь, что я вор, сяду в твою кутузку...

— Ну уж нет! Она мне самому нужна.

— Даже за деньги не уступишь?

— Эх ты! Не все продается, грешник несчастный! Если я что-то и продаю, так это мой труд. Но когда вместе с трудом продается и душа моя, вот тогда-то добровольное заточение и исцеляет меня. Когда у меня такое состояние, все кричат: «Опять чокнулся!». Я и впрямь сумасшедший, а то какому умнику придет в голову переспать с женой булочника Шашатулы и разгуляться на припрятанные им денежки.

— Ну это ты уж загнул, Кола! — весело захихикал Давид.

— Ну, скажем, друзья, сбылась моя мечта. Как же

я людям в глаза гляну? Скажем, они посмотрят на это сквозь пальцы, так ведь меня совесть замучает. Как ты думаешь, портному Шио сойдет с рук изнасилование падчерицы?! Думаешь, сойдет? Нет... Собственная совесть загрызет его, душу его поганую. Мы еще услышим о его смерти... А вообще-то, думаете, что совесть вещь хорошая. Беда, когда совесть в тебя вселится... Вот я всю жизнь свою помню о совести, так что мне от этого легче? Не знаю...

Давид тяжело дышал, упершись головой в сетку забора.

— Свидание окончено! — прервал свои рассуждения «Садись-Кола» и растворился в глубине своей кутузки.

Торнике растолкал Давида локтем. Давид недоуменно заморгал, протер глаза и непонимающе уставился на Торнике.

— Где «Садись-Кола»?

— Все там же!

— Пошли, его оттуда не выудишь!

Как только Давид и Торнике вышли со двора, они столкнулись с двумя женщинами. Одна из них, с пышной грудью, так налетела на Давида, что чуть не сбила его с ног.

— Полегче! Отодвинься!.. А то однажды не выдержу и.. — заржал Давид.

— Нашел время для шуток! Ты лучше скажи, за что сидит Кола? — спросила женщина с пышной грудью.

— На то он и «Садись-Кола», чтоб сидеть.

— Неужто он тебе не признался? Ну-ка вспомни, что он сказал?

— Умолял я его, скажи, за что себя осудил, может помогу чем. Нет, не захотел. В конце концов я такое слово ему сказал, что...

— И что же ты ему такое сказал?

— Да ты за другого человека сидишь, сказал я ему. Вы что думаете, он сам себя карает? Нет, свыше этот приговор. И мы все приговорены... И не надо насмехаться над «Садись-Кола»...

— А мы не насмехаемся. Просто интересно, за что он сидит, — не отставали женщины от Давида.

— Возмечтал он переспать с женой булочника Ша-

шатулы и в мыслях убил его, присвоив себе все его добро.

— Стало быть Татуло не так уж и без греха, «Садись-Кола» о порядочной женщине так не посмел бы подумать, — загорелась пышногрудая женщина.

Молва о мечте «Садись-Кола» разнеслась по всему городу.

Городские повесы по телефону клялись в любви жене Шашатулы, и Татуло, позабыв о женской чести, закружилась в этом вихре, как лебединое перышко. А Шашатула все продолжал печь свои булочки.

В том городе, где я поселился, на горе возвышалась пятнадцатизэтажная гостиница. Ежедневно Давид кружил около этой гостиницы, пытаясь войти, но безуспешно. Он умолял швейцара:

— Впусти, хочу сверху взглянуть на мой город. Больше мне ничего не надо, клянусь совестью!

— Ты и совесть?! Небось водку хочешь стянуть из номеров?

— Да ястреб я, ястреб, а не вор! А ястреб должен летать!

Наконец после бесконечных просьб администратор сжалился над ним. Давид отказался от лифта и пошел по ступенькам вверх, пересчитывая этажи: «Раз, два, три, четыре... семь... восемь... одиннадцать... четырнадцать... пятнадцать». Достигнув бетонной крыши, он гордым взглядом окинул распростершийся у его ног город.

— До чего же красив мой город! Вечно он взирал на меня сверху, а теперь пришел мой черед. Хоть на миг он побудет у моих ног. Эгей-гей! Развелось же воробьев! Сегодня завалят базар мясом — над бойней воробьи и грачи суетятся. А где же ястреб! Неужели над городом не должен парить ястреб?!

Обслуживающий персонал гостиницы был взбужден: «Как же так, с крыши нашей гостиницы человек прыгнул?!».

Никто не оплакивал ястреба, только сожалели, что некому будет раскрывать тайны «Садись-Кола».

Сорок дней оплакивал «Садись-Кола» заплесневевшие души бессердечных людей.

Человек выдерживает голод сорок дней, а потом...

# СМЯТЕНИЕ



УДК 82.093.5  
ББК 84.009.33

Природа одарила Вселенную самым ценным — человеком, научив его дорожить быстротечностью жизни. Ведь на очереди новая жизнь, вернее — впереди грядущая смерть, а нарождающаяся новая жизнь теснит нас, и мы спешим, боимся ее — новой жизни. «Кому нужна новая жизнь?!» — со страхом думаем мы, но наша внутренняя природа, помимо нашей воли, побуждает нас рождать следующую... Мы ощущаем таинственный голос Вселенной: «Довольно грехов! Чем дольше будешь жить, тем меньше — каяться. И ты не смог выполнить назначение человека. Земля поглотит и тебя! Не бойся! Не завидуй! Мафусаила не было и не могло быть!». Этот безмолвный крик вместе с болью вползал в мое сердце.

На переходе я остановился на красный свет. «Нет, я не должен упасть! Что это со мной?! Словно куда-то проваливаюсь, какой-то пестрый калейдоскоп в глазах»... Кто-то бесцеремонно меня подтолкнул: «Ну что стоишь, как вкопанный? Или пройди, или других пропусти!». Я кое-как перебрался на противоположную сторону улицы, едва успел перевести дух, как мимо проехал огромный «Икарус» и едкий выхлопной газ ударил мне в нос, проник в легкие и совершенно добил меня. Толпа не чувствовала боли моего, словно звериными когтями, раздираемого сердца... А вот собака чувствует землетрясение и своим душераздирающим воем словно предупреждает человека: вцепись покрепче в жизнь!..

— Здравствуйте, батона Свимон! — чей-то неприятно тонкий голос резанул мне слух. Я удивленно уставился на говорившего, силясь припомнить, где я его мог видеть.

— Простите, но я вас не узнал!

— Вы меня оперировали, моя фамилия Одиладзе!

— У вас был врожденный порок сердца?

— Да. Сейчас же я порхаю как птичка, даже в футбол играю с дворовыми мальчишками.

— Да вы что! — изумился я.

— Ей-богу! — и Одиладзе самодовольно улыбнулся.

— Как поживают супруга, дети?

— У детей все в порядке! Только вот жена в по-

следнее время что-то хандрит. Ну, я побежал, дел по горло.

— Ты помнишь, в моем кабинете в клетке тосковала куропатка? Так вот, она умерла! — сообщил я вдруг Одиладзе.

— Вы что, переживаете? Куропатку можно купить на птичьем базаре!

— Меня другое тревожит... Зачем я ее не выпустил? Разве в клетке ей было место?!

— Не знаю... — начал оправдываться Одиладзе, словно я его в чем-нибудь обвинил.

— Кто же подарил мне ту куропатку?.. — задумался я.

— Батоно Свимон, я очень спешу, как-нибудь в другой раз... Я к вам зайду... Ну, всего доброго! — уже на бегу бросил мне бывший пациент.

Мимо меня, разговаривая, прошли две пожилые женщины: «Ты слышала, что бормотал этот мужчина? Некоторые с возрастом, мол, дуреют! Он нас имел в виду?» Я понял, что Одиладзе имел в виду меня, а эти расфуфыренные старухи приняли его слова в свой адрес.

Мне так и хотелось им сказать: «Пусть вас не мучают сомнения, они еще больше вас состарят... Разговор шел обо мне!». Но сердце опять сжали железные тиски. Я знаю, что со мной происходит: сердечное заболевание — атеросклероз коронарных сосудов, крупноочаговый миокардиосклероз, склероз аорты и головного мозга... Но я не верю в поставленный мною самим диагноз. И так все врачи, — ведь они те же самые люди с инстинктами самосохранения, цепляются за самую слабую надежду! Я не хочу думать о стенокардии, но чувствую тяжелую боль в задней стенке сердца... Ищу, где бы присесть, может пройдет, ведь сердце так выносливо. Я чувствую, как мое сердце обвила гюрза, как та, что укусила меня в Шираки, и как в сосуды медленно проникает ее яд... Боль не проходит. Я совершенно обессилен от этой проклятой боли, едва передвигаю ноги.

Я уставился на небо и увидел бога рядом с чертом, зажмурил глаза, затем открыл. Они вновь были вместе, и оба с жалостью смотрели на меня. Может, они насмеялись надо мною?! Трудно сказать, ведь иногда жалость превращается в самую беспощадную насмеш-

ку, такую, что потом до конца жизни от нее не отделаешься. Переходит такая жалость из крови в кровь и порабощает тебя. И тогда рождается в человеке пагубная доброта. Ну объясни тогда, как рождается доброта, если не так?! И доброта выросла из гнилого семени! Да! У природы общие законы!..

Я присел на бордюр около садика и прислонился к изогнутому стволу дерева. Гюрза медленно отползла от сердца, оставив после себя неприятный холодок в груди. Какой-то прохожий остановился около меня, наклонился, принюхался и заключил:

— А еще говорят, что грузины никогда не пьянеют!

Послышалось постукивание палочки по бордюру, ко мне, причмокивая губами, приближался слепой. Постукивание палочки становилось похожим на ритмическое биение сердца. Палка больно стукнула меня по ноге. Слепой удивился.

— Кто это?

— Это я...

— Что-то я тебя не узнаю! — Слепой присел на бордюр, вытащил из кармана скомканную газету и попросил: — Почитай!

— У меня очков нет с собой...

— А ну-ка встань на минутку! — сказал мне слепой.

— Не могу.

В ответ слепой так больно стукнул меня стальным наконечником палки, что мне пришлось со стоном встать. Слепой деловито передвинулся на мое место, и когда прислонился к стволу, на его невыразительном лице заиграла ехидная улыбка:

— Меня зовут Цасукурэ<sup>1</sup>. Только ты так ко мне обращайся! Когда-то у меня были зоркие глаза и я прочел много книг. Даже «Витязя в тигровой шкуре» наизусть выучил. Не веришь?

— Конечно верю! И у меня есть один друг, Шота зовут, он наизусть знает...

Он постукал меня палкой по голени и приказал:

— Приведи мне кого-нибудь, пусть газету почитает. Интересно очень, что уготовили жене Мао Цзэ-Дуна? Сколько раз я говорил, что жену за порог дома нельзя выпускать!

<sup>1</sup> Цасукурэ — букв. смотри в небо.

Не дождавшись от меня ничего путного, Цасукүрэ встал и двинулся дальше. Продолжил свой путь и я. Вдруг у меня зачесалась спина, так бывает, когда я чувствую, что за моей спиной что-то происходит. Я оглянулся. Так и есть! Слепой ковылял рядом с каким-то пенсионером и энергично жестикулировал, показывая в мою сторону. Пенсионер взглядом приказал мне остановиться. Я совершенно обезумел от боли. Казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Наверное, в самом деле кто-то невидимыми руками шарит в людских сердцах.

— Товарищ, что за наглость?! Как вы обращаетесь с инвалидом? Вам что, трудно было прочесть газету этому несчастному! — брэнчал вставными протезами и брызгал слюной пенсионер.

— Я ведь сказал ему, что у меня нет очков...

— Перестаньте, небось, сторублевую купюру вы и без очков хорошо разглядите!

Сердце раскачивалось, как маятник стенных часов, словно собираясь разнести всю грудную клетку.

Слепой со своим спутником прошествовали дальше. Мне слышались довольное хихиканье слепого и возмущенная речь пенсионера.

Дворник, который поливал из тонкого шланга цветы на пыльной улице, забрызгал мне ноги. Приятная прохлада разлилась по всему телу, и я улыбнулся. Дворник мгновенно напрягся, открыл рот и приготовился дать мне достойный отпор. Я опять обезоруживающе улыбнулся. Дворник моментально оценил это и, успокоившись, вновь принялся распределять драгоценную влагу. Помню, когда я рос в деревне, бабушка серьезно и надолго заболела. Спустя несколько дней дедушка, пожалев жену, которая не могла терпеть вида неприбранного дома, попросил соседку прибраться. Когда она ушла, дед шепнул мне: «Вот так-то, родной, когда в селе нет собаки, кошки лают!». Я понял дедушку и заметил, как слабо улыбнулась бабушка.

На улице распространился запах влажной пыли. Пыль превращалась в грязь, и легкие людей, таким образом, спасались от множества бактерий. Сердце, как гири от часов, опускалось все ниже и ниже. Мы, люди, похожи чем-то на часы с гирями. Сердце — гири, висящие на слабых нитях судьбы. Как только нити души



сгниют, сердце срывается и стремительно падает. А мы по-разному определяем эти явления. Да и я сам сколько раз говорил: «Ничего страшного, у вас стенокардия. Успокойтесь, микроинфаркт... Приобретенный порок... не волнуйтесь!.. А что тогда делать тому несчастному, у кого врожденный порок?!» Успокаиваю, и мне верят! А меня, меня кто обнадежит, кто развеет смятение моей души?

Земля внезапно дрогнула. Я заметил, как дрогнули висящие на цепях уличные часы. Улица не всполошилась, никто и не вздумал крикнуть, пульсация нашего стремительного века не ускорилась и не замедлилась.

Прохожий спросил у меня, где я живу. Я оперся на его кисть и мы медленно побрели. Наконец мне удалось слегка перевести дух. «Ничего страшного, — промелькнула мысль. — Если сердце откажет, этот человек мне поможет!» Незнакомец вдруг остановился, искоса взглянул на меня и заискивающе пробормотал:

— Мне, оказывается, совсем в другую сторону надо! Как я мог ошибиться!

— Одну минуточку, молодой человек!

Незнакомец судорожно отцепил мою руку:

— Не иду я на ту улицу, что вам от меня надо?! — отрывисто сказал он.

— Извините, извините, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы с телевидения! — кто-то всунул мне прямо в лицо микрофон.

— Пожалуйста, — ответил я полногрудой девице.

— Что вы считаете самым дорогим в жизни?

— Сеять добро!

— Чего бы вы пожелали?

— Побывать с вами!

— Пойдем, не видишь — старый бабник! — посоветовал оператор полногрудой девице.

Девица передала микрофон другим и приблизила к моему уху губы:

— Вы, видно, решительный мужчина. Люблю таких... Но между нами огромная пропасть — ваш возраст. Так что опоздал, папаша! — и она исчезла из поля моего зрения, оставив после себя аромат сирени и очарование молодости.

Я взглянул на часы. Они стояли.. Уличные часы,

по-видимому, тоже объявили бойкот. Ну вот и у меня есть причина!

— Извините, который час?

— Нет у меня часов.

— Извините, который час...

— Приблизительно... Нет, не знаю...

— Вы не скажете, который час?

— Какое совпадение, а я у вас хотел спросить!

В конце концов нашелся добрый человек, и мне удалось завести часы. Сердце опять дало о себе знать. Теперь у меня было такое ощущение, будто сверло проникает вглубь сердца. Время от времени сверло останавливалось, а затем вновь принималось за свою безжалостную работу. Вдруг я почувствовал, что оно словно просверлило во мне дыру. Я перевел дух, так оно и есть, именно этого я боялся. По грудной клетке разлилось приятное тепло, просверленное место, кажется, стало затягиваться. Сердце начало неприятно пощипывать, словно выдергивали из кожи волоски.

— Батоно Свимон! Батоно Свимон! Наконец-то я вас нашел! Весь город обегал! В клинику привезли министра с острым сердечным приступом. Меня осаждает звонками масса людей! — остановил меня исполощенный голос ассистента.

— Сколько?

— Полгорода.

— И все же, сколько?

— Все министерство!

— Стетоскоп у тебя с собой? — спросил я.

— Да!

— А ну-ка приложи его к моему сердцу!

— Батоно Свимон! Разве сейчас до шуток! Я его совсем посиневшим оставил!

— А что, раньше он розовым был?

— Батоно Свимон!..

Я сел в машину. Мне было не до своего сердца.

Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ.



# АРАВИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

## ХОЛОДНЫЙ ПЕСОК ПУСТЫНИ

Я не узнал его: песок был бурый и холодный. Я дырнул его указательным пальцем—поддавался он с трудом. Приложил к нему ладонь, и мне вдруг почувнилось, что под тонкой пеленой пыли обосновался прочный ледок. И где же все это? На стыке земель Кувейта и Саудовской Аравии!

А трава росла. Но по первому впечатлению ее сотворили из жесткой пластмассы: такая невысокая, такая невзрачная, чуть не колючая! Однако верблюды — прежние властители необозримых пространств Аравии, — не только не брезгают ею, но едят с огромным удовольствием.

От этой самой травы веяло прохладой, хотя холодной ее не назовешь. Это не то что песок! И воздух тоже прохладный — будто рядом включили кондиционеры, доставленные сюда из лучших отелей Кувейта. Я подумал: где же та, настоящая Аравия? Где горячий желтый зыбучий песок? И куда подевался огонь, не так давно поджаривавший мне пятки, тот огонь, который подавался, вероятно, из нефтеносных глубин аль-Ахмади?

Я смотрел на яркие звезды, запрокинув голову — хотелось получше запечатлеть аравийское небо в эту раннюю весеннюю пору.

Черт знает что! — надо мною высилось звездное небо из «Тысячи и одной ночи», а подо мною стелились

холодный песок и гравий из сказок пластмассовой эпохи. Несообразность озадачивала, и я приписал ее естественной аберрации, когда глаза и память привыкли к одному, а вдруг заметили нечто другое.

И я невольно обращаюсь к прошлому: нет ли там какой-нибудь достоверной разгадки или зацепки к разгадке? Когда впервые запечатлелся привычный образ аравийской стороны? Почему холодок пустыни так поразила меня? И только ли меня?

И даль памяти представляет одну из картинок детства: отец дарит нам толщенный том Лермонтова с гравюрами в полную страницу. Особенно запечатлелась одна из них: всадник на горячем скакуне... высокие деревья на втором плане... а вокруг — нечто безбрежное. Море? Нет, не море! Степь, что ли? И да, и нет! Степь эта особенная, непонятная... И тогда читаем вслух, немало запинаясь на ударениях:

«В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли... И, стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня...»

Все здесь было вроде бы понятно, кроме этих самых «песчаных степей». И пуще того: «И шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывающая песок»... Что значит «взрывающая песок»? Мы знали, что песок на берегу моря, — а здесь? Детскому любопытству не было конца и уразуметь кое-что помогали огромные карты, на которых «аравийская земля» была покрыта сплошной охрой, будто это самое место на карте вымазали яичным желтком...

Ну и, конечно, эта самая «Тысяча и одна ночь». Дома у нас читали ее, как Майн Рида и Жюль Верна. Как Библию. Я делал иллюстрации к сказкам пером и китайской тушью на дорогом «ватмане». Те пальмы у меня и сейчас перед глазами: ведь в моей абхазской Акве куда ни глянь — пальмы, пальмы... Только у меня они на бумаге были повыше. И невольно я думал о лермонтовских пальмах, которые тоже «высоко росли». А на небе сияла луна, на черном-пречерном небе, а безбрежный песок («зыбучий») сверкал в подлунном мире, как граненое стекло...

От «Тысячи и одной ночи» — мороз продирает по коже. Шутка сказать! — и Али-баба с разбойниками,

и Синдбад-мореход посреди бешеных волн, и таинственный Медный город. Что это за город? Где он стоял? Что произошло с ним?

Вы только послушайте, что это за город — по-арабски Медина эль-Наххас...

Значит так джинна спросили (цитирую):

«Где дорога, ведущая в Медный город?» И он показал дорогу в город, и оказалось, что между ними и городом двадцать пять ворот... и от них нельзя найти следа»...

Да, это был весьма таинственный город. Тайна углубилась, когда эмир Муса с шейхом Абд-ас-Самадом с трудом вошли в него, и город оказался таким большим, какого не видели глаза.

«Дворцы его были высоки, и купола в нем уносились ввысь, и дома были хорошо построены»... «и был этот город с крепкими воротами, пустой, потухший, где не было ни шума, ни человека. Повсюду в нем свистели совы, и птицы царили над дворами его, и вороны каркали на улицах города и на площадях, плача о тех, кто был там»...

Чем больше знакомился эмир с городом, тем больше усиливалась таинственность:

...«и увидели привратников, слуг, царедворцев и наместников, лежавших на шелковых коврах, и все они были мертвые»... И на главном рынке купцы лежали мертвые подле своих лавок, «и у них высохла кожа, и сгнили кости»...

Словом, полное запустение в Мертвом городе. Где же располагался он? «Тысяча и одна ночь» не дает ответа на этот вопрос. Но есть предположения...

Я думал о Медном городе, стоя по щиколотки в аравийском песке в июльскую жару. До Персидского залива было далеко. Зной пустыни царствовал здесь безраздельно. Я спрашивал себя: сколько можно продержаться на этом месте, чтобы не закипела кровь? Набрал горсть песку, и он напоминал мелко смолотый кофе. Но порошок был желтого цвета. Тут же высыпал песок. Недалеко от меня стоял одногорбый верблюд, стоял, не двигаясь, как изваяние. Я подумал, что раз это живое существо может стоять в этой пустыне, выстою и я, хотя и не был облачен в легкую галабийю —

на мне был обыкновенный европейский костюм. «Жить можно», — сказал я себе, стоя под кувейтским солнцем с непокрытой головой.

И верно: пустыня, угрожающая смертью, вовсе не безжизненная. Она была такою и тысячу лет назад, когда ходили по ней караваны и обживали ее бедуины на севере и на юге, на западе и востоке...

Много лет тому назад познакомился я с Бухарой. Ночью ее старинные кирпичные постройки на черном фоне неба с неизменной луной — рыжевато-белесой — напоминали не то Багдад, не то Дамаск далеких времен из «Тысячи и одной ночи». А скорее всего — Каир...

Мой друг, арабист Тулан Кадыри, на правах хозяина водивший меня по пыльным закоулкам Бухары, сказал:

— Кажется, что я брожу по Медному городу.

Я удивился:

— Почему — по Медному?

— Заброшенные цитадели, пустынные дворы, одряхлевшие здания медресе и мечетей... Ведь это почти Медный город.

Тулан Кадыри говорил с горечью. Ему вовсе не хотелось, чтобы постройки, на которых суровая печать времени, напоминали Медный город из арабских сказок. Мы с ним не один день хаживали по старой части Бухары и мне стало ясно, что руки узбекских архитекторов и реставраторов дойдут и до Бухары. О чем я и написал в «Литературной газете».

Медный город...

Он не только в «Тысяче и одной ночи». Много удивительного рассказано о нем в многочисленных рукописях арабского средневековья. Кстати, где находился он, этот умопомрачительный Медный город?..

В Тиране я беседовал с профессором Медани. Говорили о временах римлян и эллинов, и о прочем, что называется, о дне вчерашнем и сегодняшнем. Не помню, кто из нас первым обронил фразу о Византии и Иллирии — старинной Албании.

— Южные границы Византии, — сказал профессор, — простирались до аравийских песков. Чуть ли не до Медного города...



— Как вы сказали?

— Медного города, — повторил профессор.

— Разве он находился на Аравийском полуострове?

— А где же еще?

Я задумался:

— Из некоторых арабских книг можно предположить, что он стоял где-то в Тунисе. Или Алжире.

Тут настал черед призадуматься профессору...

Медный город...

В Исфахане, путешествуя по путям-дорогам Омара Хайяма, я спросил ученого филолога, что известно о Медном городе...

— Если вы имеете в виду... — сказал он, — если речь идет о сказочном арабском городе...

— Вот именно! — обрадовался я, втайне надеясь узнать местоположение города.

— Начнем с того, — продолжал ученый муж, — что это был город невообразимых чудес.

— Наверное, так.

— Далее, — ученый, можно сказать, сорвал со своего мясистого носа очки и посмотрел куда-то вдаль. — Город роскоши и город зверств — вот что такое Медный город! А находился он...

Долгая, долгая пауза.

— Говорят... — начал было я подсказку.

— Знаю, знаю! Многие говорят. Но достоверно лишь одно: невозможно указать достоверно, где он стоял... И еще: по-моему, нигде не зафиксирована письменно история бедуина по имени Халаф аль-Джухани и его двух попутчиков: византийца по имени Деметрия сына Леона из Дамаска и Саула бен Ицхака из Иерусалима. Послушайте, это же любопытная история... Впрочем, сколько было их, этих историй, на свете! Разве все перечтешь и обо всех напишешь?..

В Дамаске я напросился в гости к продавцу антиквариата.

— Вас рекомендовал мне профессор Мамдух Саид в Бейруте. Он сказал доподлинно следующее, имея в виду вас: только он один, то есть вы, сможет сказать точ-

но, где искать следы Медного города и что случилось с бедуином-язычником по имени Халаф аль-Джухани.

— Профессор Саид очень уважаем. Может, чем-то и прав, но знаний моих явно недостает, чтобы удовлетворить вашу любознательность.

— А все-таки, уважаемый... Все-таки...

Антиквар сказал:

— Пергаментный свиток с рассказом об аль-Джухани я продал одному французу. Это было давно. Я передам вкратце его содержание. Хотите, я наговорю в этот ваш диктофон?

Я заранее был благодарен антиквару.

Рассказ его оказался кратким. Но в заключение я услышал весьма определенное:

— Ищите Медный город в Тунисе.

Занимаясь в Египте розыском следов города Ахетотона, в котором в давно прошедшие времена царствовали Эхнатон и Нефертити, я не мог обойти вниманием фантастический Медный город. Что думают о нем на берегах Нила?

Хранитель древностей профессор Жорж ад-Дин, крепкий в плечах копт, не торопился с ответом.

— Дайте срок, — сказал он, улыбаясь. За стеклами его больших роговых очков сверкали иссиня-черные зрачки.

— Разумеется, профессор, у нас с вами в запасе вечность, — не очень-то остроумно пошутил я, указывая на ступенчатую пирамиду Джосера.

Профессор оказался человеком пунктуальным: он дотошно исследовал все, что писалось о Медном городе и коротко резюмировал не далее, чем через сутки:

— Итак, — сказал он, — Медный город встречается во многих сказках и легендах. Но никто не видел его на карте. В натуре — тем более. Существуют два мнения, которые, вероятно, известны вам: одно из них отводит место Медному городу где-то в странах Магриба, а другое — отсылает нас на восточный берег Аравии.

— Огромная дистанция, — заметил я.

— Зато какой простор для фантазии! — Профессор весело сверкнул глазами. — Хотите я все это изложу с полным перечнем источников?



— Это большой труд, — сказал я, — и сможет ли он убедить кого-либо, что Медный город действительно существовал на земном шаре?

Спустя много лет мне вновь довелось побывать в Каире. Он стал двенадцатимиллионным, улицы его были запружены машинами — ни пройти, ни проехать. А центр его, включая остров Замалик, как бы стал двухэтажным: понастроено много эстакад! А под землей — метро.

Состоялись беседы с писателями и журналистами. За разговорами я не выпускал из головы имя профессора Шукри Макли, автора исследований по арабскому народному творчеству. И, разумеется, добился встречи с ним. И с места в карьер:

— Профессор, два слова о Медном городе. Помните? — из «Тысяча и одной ночи».

— Еще бы! Возможно, он находился где-то на востоке Аравийского полуострова.

— А что-нибудь говорит вам имя бедуина Халафа аль-Джухани?

— Даже кое-что могу рассказать о нем. Из написанного. Народного.

Все! Это то, что мне нужно позарез!

На развалины Карфагена, — если можно назвать развалинами распаханную римлянами землю, — меня привели, так сказать, дела Ганнибаловы. А понемногу продолжал интересоваться Медным городом и бедуином.

В Тунисе, как и в других арабских странах, многое знали о Медном городе. Однако однозначного ответа о его местоположении так и не услышал. Говорили: «Должно быть, где-то в Марокко», «Скорее всего, в Ливии», «Нет, пожалуй, в самой Аравии». Аравия велика. Где, в каком ее углу располагался Медный город?

Один литератор бросил даже такую фразу:

— Сказка сказкой, но город этот существовал. Почти наверняка.

Это подогрело меня. Может, что-нибудь более достоверное скажут те, кто занимался Византией, ибо

Византия унаследовала и сохранила многое из того, что знали на Востоке и на Западе. Но ни в Афинах, ни в Софии, ни в Стамбуле добавить что-либо к арабским источникам не смогли.

Однако в Стамбуле, не где-нибудь, а на базаре, в толчее, меня познакомили с любопытным лавочником. Это был человек в летах, торговал, скорее, по инерции, чем по нужде. Старик-лавочник не знал, где Медный город, но много рассказывал о злополучном бедуине и его товарищах, попавших в беду. Я, разумеется, все это наматывал на ус...

А вот и Кувейт! Что думают здесь ученые о Медном городе?

Мне везет: я попадаю на совещание писателей всего Аравийского полуострова. Расспрашиваю. Литераторы из Саудовской Аравии, например, задают встречный вопрос: Разве он не в странах Магриба? (То есть далеко на западе).

Доктор Саид эд-Дин, с которым довелось беседовать о доисламской Аравии, сказал в ответ на мой вопрос:

— Хотите знать досконально о Медном городе? Так вот: в конце стола сидит доктор Мухаммад Зейд. Он все объяснит.

Я, разумеется, тут же переметнулся к ученому, с которым уже был знаком, и приступил к нему с диктофоном в руке.

— Медный город? — удивился ученый. — Вы имеете в виду тот самый, в котором творились разные чудеса?

— Да, тот самый, почтенный хахим.

Он улыбнулся:

— Не ищите следы его на краю света. Он находился недалеко от нас: в Омане, западнее города Маската. Есть там и сейчас Медная гора. Был там, подле нее, тот самый Медный город.

Я поведал доктору историю бедуина и его двух друзей в том виде, как она сложилась у меня после многочисленных бесед в разных странах. Доктор Мухаммад Зейд сказал следующее:

— Очень много различных историй связано с этим таинственным городом далекого прошлого. Ваша исто-

рия — одна из многих. Позвольте мне добавить к ней несколько штрихов, несколько эпизодов.

Это было именно то, чего до смерти хотелось мне...

Вдруг представилась мне возможность слетать в Иорданию от «Литературной газеты». Выполняя корреспондентские обязанности, я надеялся услышать еще кое-что о Медном городе. «Неужели, — думал я, — на берегах Мертвого моря, в иорданских университетах — Аммана или Ирбиды — не повстречаю знатока арабских легенд и сказаний?» И нашел. Но то, что я услышал от доктора филологии Джафара Зийяда, огорчило меня.

— Медный город — плод воображения.

— Очень, очень жаль, — сказал я.

Доктор, не единожды бывавший в нашей стране, заметил, улыбаясь:

— Но недаром же говорят у вас: нет дыма без огня...

Судьбе было угодно почти вплотную приблизить меня к Медному городу, если он существовал когда-нибудь. Дело в том, что Союз писателей нашей страны командировал меня в Объединенные арабские эмираты для установления связи с писателями эмиратов. На одной из бесед в Абу-Даби зашел разговор о «Тысяче и одной ночи». Я не удержался и задал собеседникам вопрос.

— Господа, — сказал я, — вы, конечно, помните прекрасную повесть, называемую «Медный город»?

— Разумеется, — был ответ.

— А где он находился?

Среди литераторов было немало историков и археологов.

— Легенда, — услышал я.

— Плод фантазии...

— «Медный город» — сказка.

Но тут поднялся человек средних лет и произнес на чистом русском языке:

— У меня свое мнение. Сам я химик. Из Омана. Я знаю Медные горы — до них не так уж далеко, если ты в Маскате. Вблизи Медных гор — медные рудники и сейчас. У нас в Омани уверены: Медный город су-

ществовал, в нем жили люди. Это был, а не фантазия.  
Химика звали Гиляль Хамис Муссалам, он окон-  
чил Московский университет. С ним проехал я сотни  
километров от Эль-Айна до узкого Ормузского пролива.  
И время от времени он повторял, мило улыбаясь:  
— Медный город — Оманский город. Это точно!  
Хотите поедem туда? Дорога очень хорошая.

В Москве, подле моего изголовья, росла, все росла  
книжная горка на полу — почти все, что было написа-  
но об Аравии. (Работы наших арабистов — таких, как  
Крачковский, Крымский, Баранов — постоянно находи-  
лись у меня под рукой). Это был большой и прекрас-  
ный родник знаний.

Постепенно передо мною воскресла некая панора-  
ма, на фоне которой жизнь бедуина и судьба двух его  
друзей поворачивалась ко мне многими гранями. Иню-  
гда казалось, что нахожусь в том самом времени, когда  
жил и несчастный бедуин аль-Джухани, или попросту  
Халаф, то есть в шестом веке нашей эры. Аравийский  
полуостров в то время был населен, главным образом,  
язычниками, а также христианами и иудеями.

Я думал: какому же рассказу (варианту) о Хала-  
фе и его друзьяx отдать предпочтение? Такого, как  
говорится, не оказалось. В каждом из них было нечто,  
что придавало рассказу необходимую цельность, и в то  
же время, чего-то существенного недоставало. Вот то-  
гда-то мне и пришла мысль повести рассказ от лица  
некоего обобщенного Рассказчика. Он может быть ро-  
дом из Каира или Кувейта, Багдада или Дамаска, Бу-  
хары или Бейрута. Однако место действия остается не-  
изменным — Аравийская пустыня. И не будем делить  
ее, уподобляясь старинным греческим и латинским ав-  
торам, на Счастливую, Петрейскую или Пустынную.  
Аравия есть Аравия...

Не будем также судить, какой ветер более всего  
вреден для сущего: южный или северный, восточный  
или западный. Смею заверить: все они одинаково про-  
тивны, когда начинает осыпать тебя чуть ли не докрас-  
на разогретый песок.

Когда я стоял по щиколотки в песке и смотрел во-  
круг, то видел сплошной зыбучий песок, — бугристую  
поверхность желтого цвета.

Я представил себе одинокого бедуина где-то в этих местах и мне сделалось нехорошо. Ибо пустыня не для одинокого, будь он даже герой или святой.

## О ХАЛАФЕ АЛЬ-ДЖУХАНИ, КОТОРЫЙ ОДНОЙ НОГОЙ СТУПИЛ В МОГИЛУ

Вот как начал Рассказчик эту историю, которая может стать поучительной для поколений и желанной в устах учителя, ежели пожелает сослужить полезную службу:

— Внизу были уголья, сверху тоже уголья. И зола от них, такая же жаркая, как уголья, плотно прилегала к левому боку, и к правому прилегала, она одинаково обжигала голову и ноги. Воистину это была печь, а говоря точнее, огненная могила для всякого сущего.

В этой печи сгорела бы и низкорослая акация, противостоящая даже августовскому солнцу. И колючий кустарник — вечный житель пустыни — тоже едва ли бы выстоял. Таков был нестерпимый жар этой нерукотворной печи, именуемой Пустыней.

Найдется слушатель, который усомнится: неужели бывает такое? Найдутся и те, которые подумают: сказка есть сказка. А я говорю во всеуслышание: правда есть правда, а она бывает страшнее любой сказки. Поэтому знайте: лежал в этой немыслимой могиле не кто-нибудь, но Халаф аль-Джухани. И скажу: воистину одной ногой ступил он в могилу.

Однако в нем теплилась жизнь, как теплится она в любом, кто обитает в этой величайшей из пустынь, ведомых во всех четырех сторонах света. И жил он еще благодаря тому, что горячо молил своих богов. А богами его были Могучий Муж и Могучая Жена — глиняные божки его племени, кочевавшего на западе. Оно познало на собственном горбу цену хлеба и цену воде. А было это племя безымянное, — незаметное в подлунном мире, — сколок большого племени по названию кальб. Оно тоже кочевало на западе.

Буря, свирепствовавшая три дня и три ночи, вдруг оборвалась. Как нить над веретеном. И вдруг стало тихо, горячий песок перестал носиться в воздухе, подобно стрелам, подобно тысяче тысяч стрел. А песча-

ная печь, поглотившая несчастного бедуина, продолжала свое скверное дело.

Когда упала наземь последняя песчинка, наступила звездная ночь. Непонятными ходами в песке проникла прохлада к устам Халафа. В его голове мелькнула мысль: «Кажется, жив я». И это было воистину так: Халаф жил, силы возвращались к нему. Песок без труда мог набить ему рот, но в зубах у бедуина был зажат платок из верблюжей шерсти. И нос закрывал ему платок, и Халаф мог дышать.

Если бы кто-нибудь находился поблизости, то, несомненно, был бы напуган до смерти. Ибо зашевелился песок и из него выполз на лунный свет человек. Он огляделся, словно совершил преступление. Может, опасался кого-нибудь наш бедуин... Но кого? После неистовой бури наступило такое спокойствие, какое может воцариться только в великой пустыне после великой бури...

Халаф чувствовал себя так, словно били его нещадно горячими вертелами. И не только били, но и кололи. И не просто кололи, но протыкали всю грудь насквозь. Он спросил себя: «Случалось ли нечто подобное со мной в песчаных степях?» И ответил так: «Нет, не бывало такого». И он помолился Могучей воде, которая есть божество великое и милосердное. И жажда затомила бедуина пуще телесных болей.

Он осмотрел свою потрепанную одежду — не обгорела ли в этой проклятой печи? Нет, лохмотья, видно, не горят. И верблюжий платок цел на голове. Но куда девался нож, который подобен дамасскому кинжалу? Наверное, поглотил его песок — ищи его теперь до скончания века.

Полежал Халаф на земле и не без труда поднялся на ноги с первыми лучами солнца.

Халаф всегда знал цену воде. Могучее племенное божество не обделяло его до сей поры. Однако теперь все помыслы сошлись на одном единственном глотке воды. Где взять этот глоток?

Халаф повернулся лицом к песчаному холму, который был сравнительно недалеко от него. С него-то и решил он обозреть окрестность. Может, подумал он, где-либо недалеке отыщется вода в сухом русле — вáди — пусть даже крохотный родничок. Жаль, нет но-

жа, чтобы покопаться в песке и добыть глоток влаги — такое порой случается в пустыне.

Голова его была особенная: череп, обтянутый высохшей, задубевшей кожей. Вместо глаз — пепел. Только копна пречерных живучих волос, смешавшаяся с рыжим песком, да небритое лицо напоминали того Халафа, который отважился на одиночное пребывание в пустыне.

Он пощекотал пальцами переносицу и чихнул на всю окрестность. Горсть мелкого песка брызнула на землю. Он откашлялся, и рыжий песок вырвался изо рта наподобие кунжутových выжимок. И Халаф почувствовал некоторое облегчение.

Он посмотрел на небо — нет ли на нем какого облачка, которое чуточку смягчило бы нестерпимый зной. Но небо было чистым, какой бывает дамасская сталь, когда ее хорошенько протрешь маслом, смешанным с тончайшим песком. И было небо угрожающе-равнодушным и без зазрения совести посылало на землю мириады раскаленных угольев. Все это было бы ничего, если бы глоточек воды, только один глоток!

Халаф достиг подножия холма. Взобрался на него. Солнце клонилось в сторону своих вечерних краев. На голубовато-белесом небе оно выглядело как комок снега на йеменской горе.

Халаф стал лицом к востоку, протер глаза, тоже полные песка, но не увидел ничего такого, что бы вселило надежду. А надежда одна — глоток воды, горсть хотя бы вонючей воды из полувысохшей вади. Но где там!

Тогда он повернулся на юг. В этой стороне земля была немного холмистая, наподобие волн на Персидском заливе. Такие небольшие холмики, расположенные в должном порядке и наверняка лишённые вади.

А вот на западе вослед солнцу потянулось углубление — настоящее вади, высохшее русло. И даже мелькнуло нечто бурое, правда, не близко, на расстоянии трех полетов копы — не меньше.

Бедуин посмотрел на свои руки: могут ли они выкопать ямку, не говоря уже о небольшом колодце! Могут! Должны! Нельзя иначе! Отдавать жизнь в три-

дцать лет — позорно для мужчины, вскормленного пустыней.

Что же до севера — там было безнадежно-равнинно, никакого вади. О нем и речи не могло быть! И так, остается одно: шагать вослед солнцу. Во что бы то ни стало! И Халаф обратил глаза к своему божеству, которое вездесуще, и мир состоит не столько из суши, сколько из воды. Так учили в шатрах мудрые люди...

Бедуин вздохнул глубоко-глубоко. Раз. Другой. Третий. Он набирал силу в жилах, по которым текла кровь. Очень трудно давался первый шаг, вернее, решимость сделать шаг в направлении вади. И тут он вспомнил недавнее прошлое, свою жизнь в Медном городе, и решимость его удвоилась. Стоило еще раз обратиться мыслями к прошлому, как эта решимость утроилась. И он сделал свой первый важный шаг...

Шел он, чуть не падая. Кружилась голова, ибо был он голоден и жажда мучила его. Он сказал себе: «Халаф несчастный, ты едва волочишь ноги. Но вспомни, от чего и от кого ты унес их, вспомни проклятый город и его правителя! Неужели ты сдашь именно сегодня, когда, кажется, самое страшное позади, а жизнь твоя принадлежит только тебе? Если ты не позаботишься о ней, кому она будет нужна? Только шакалам да лисам пустыни»...

Так думал Халаф, едва волоча ноги. Он двигался, как бы скованный тяжелыми цепями. Никогда не думал Халаф, что так тяжело может быть на свободе. Неужели в том отвратительном городе ему было лучше от того, что воды в изобилии, и пищи, и тени, куда можно было укрыться от палящего солнца?

Само это сравнение было унижительно: ведь он, Халаф, предпочитал смерть той постылой жизни. А как же теперь? Глоток воды предпочтительнее неволи?

Никогда!

Халаф облизнул языком потрескавшиеся губы и подался вперед.

На глаза бедуину попался низкорослый колючий кустарник. Не было поблизости растения, равного ему по величине. «В нем должен быть сок, — решил Халаф. — Ведь едят же его верблюды и даже с удовольствием. Значит, в нем должен быть некий сок, или подобие сока». Призвав на помощь божество, которому



очень доверяло его племя, бедуин приблизился к кустарнику.

Требовалось одно: нагнуться, вырвать с корнем растение или же сорвать кривую веточку, отходящую в сторону от кривого тощего ствола. Однако потребовалось усилие. Да еще какое! А что за веточка оказалась в руке? Глаза его увидели то, что увидели: она скорее напоминала тугую пряжу из верблюжьей шерсти, нежели живые волокна, пропитанные влагой. Растение кое-как существовало, но жизнь даровать бедуину едва ли могло.

Он огляделся вокруг. Решение одно: надо идти вперед, вперед к вади. Ведь бывают же чудеса даже там, где, кажется, сплошная пустота...

«Одной ногой я уже стоял в могиле, — сказал себе Халаф. — Я мог согнуться, и некому было бы поставить камень надо мной, чтобы не сожрали меня звери пустыни. Но я выбрался из ямы, чтобы победить смерть».

Так говорил Халаф, некоторые слова произнося вслух.

И шел дальше.

Ибо не угасла в нем жажда жизни...

### ...И ГЛАЗА ЕГО УВИДЕЛИ НЕЧТО

Рассказчик продолжал:

— Халаф держал в руке веточку кривого колючего кустарника, все пробовал ее на язык, а глаза его пытались выискать что-либо более полезное для поддержания силы. Ибо после всего пережитого в Медном городе он больше ценил и сияние неба, и мерцание ночных звезд темной ночью.

Ему почудилось, что в шагах десяти от него песок шевелится. Он протер глаза шершавой ладонью. Однако песок чуть углублялся, то подымался кверху, почти на поллоктя. И как не подумать тут о гуле, хозяйничающем в пустыне, даже неподалеку от шатров, в которых живые человеческие голоса.

Не для того выжил Халаф и не для того был рожден, чтобы пасовать даже перед гулем—чудовищем пустыни. Он нашел в себе силы, чтобы занести над собой кривую веточку — пусть слабое, но все-таки оружие.

А разве нет? Когда ты один на один с нечистой силой — и кулаки, и зубы могут пойти в ход. И даже колючая веточка.

Каково же было удивление, когда бедуин увидел руку белого цвета, протянувшуюся к свету из песка. Известно, что гуль принимает различное обличье: он то человек, то собака ласковая, то трудолюбивый верблюд. Надо быть большим знатоком нечистой силы, чтобы определить, какова она в это самое мгновение.

Недолго тянулась кверху белая рука. Вслед за нею показались голова и плечи, посыпанные желтым песком.

И тут уши бедуина уловили, правда, ломаную, но арабскую речь, на которой изъясняются бедуины. Вот что донеслось до Халафа:

— Кто ты?

Халаф еще больше насторожился, прочистил уши, полные песка.

— Кто ты? — еще раз спросил восставший из песка. И голос его походил на скрип ржавой цепи в халифском застенке.

— А сам-то кто? — сурово спросил Халаф. Голос у него вдруг покрепчал, словно не стоял сам бедуин одной ногой в могиле. — Учти: я не боюсь гулей, я бил их так, как бьют мух и прочих мошек.

Это было явное хвастовство.

— Человек я... человек...

Бедуин не поверил своим ушам.

— Повтори! — приказал он.

— Несчастный я... вот кто...

Шайтан ли, человек ли, словом, некто из сущих пытался привстать, и оказалось, что ноги у него, как у людей, и руки, как у всех, и глаза, правда, тусклые, но глаза, каких множество на свете.

— Человек, что ли?

— А кто же еще? — пропищал тот, кто именовал себя человеком.

— И ты жив?

— Как видишь...

— И у тебя есть имя?

— Есть.

— Как же ты зовешься? — Халаф все сильнее сжимал в руке смешную кривую веточку.

— Деметрий я, сын Леона... Из Дамаска...

— Что за странное имя? Так ли именуют себя шайтаны?

— Не знаю... Не ручаюсь за них... Деметрий я из Дамаска...

— Покажи мне пятерню правой руки. Растопырь ее! — приказал Халаф.

Деметрий подчинился.

— А теперь — левую.

И левую руку показал Деметрий.

— А теперь — ноги.

— Не могу, — простонал Деметрий. — Они как бы чужие.

«Руки, как руки», — сказал про себя Халаф и на всякий случай еще раз протер глаза — не видно ли перепонок меж пальцев? Но нет, все как у людей.

— Воды, — проскрипел Деметрий, пытаясь встать.

Халаф решил: будь, что будет. И, шатаясь, подошел к Деметрию. Подал ему руку и вызволил из песка. И перед ним предстал худющий высокий мужчина, лицо которого было не так-то просто разобрать.

— Ты не житель пустыни, — определил Халаф.

— Я же сказал тебе: из Дамаска я.

— Каким образом занесло тебя сюда?

— Самумом, — отшутился Деметрий.

— Ты будешь жить, — сказал Халаф.

— Почему ты так решил?

— Потому, что уже шутишь. Тот, кто умеет шутить, тот будет жить.

— Мне нравится твоя философия.

— Это еще что такое?

— Философия? — Деметрий выплюнул пригоршню песка.

— Да, это самое...

— Как тебе сказать?.. Дал бы глоток воды — все бы объяснил.

— Ишь умник нашелся! Дай глоточек воды, и я сам во всех премудростях разберусь.

Халаф все еще не расставался со своим смешным оружием. Что-то не нравилось ему в этой неожиданной встрече. Деметрий же стряхивал с себя песок подобно собаке. Верно, гулем назвать этого полуживого — большая натяжка. Но законно было спросить: от-

куда этот Деметрий, изъясняющийся по-арабски как бы заплетающимся языком? Говорит, из Дамаска. Но все-таки, какая сила забросила его сюда, в самое сердце великой пустыни? На крыльях прилетел, что ли? Если на крыльях, то где же они? Нет, тут что-то не совсем чисто...

— Чего глядишь исподлобья? — проскрипел Деметрий.

— Гляжу, как мне угодно.

— Брось эту кривую ветку. Я такой же человек, как и ты. Не веришь? Подойди поближе. А может, братски обнимешь, ибо вдвоем приятнее в этой проклятой стороне.

— Обнять? Тебя? — пробормотал Халаф.

— Почему бы и нет? У меня нож имеется.

— Как? — Халаф отступил на шаг.

— Не бойся, бедуин, этот нож не про тебя припасен.

— Покажи его.

Нож оказался с другого боку. Такой широкий нож, каким пользовались палачи в Медном городе.

— Какой ты веры, Деметрий?

— Не твоей, бедуин.

— А все-таки?

— Веры я византийской. И сам я византиец, а по-вашему — румийец.

— Значит, христианской?

— Угадал!

— Где же выучился нашему языку?

— Где попало. Больше на рынках.

Деметрий присел на песок.

— Бедуин, — произнес он тихо-тихо, — я, наверно, умру. У меня душа выходит вместе с дыханием.

— Ладно, — проговорил Халаф и отбросил в сторону эту самую колючую штучку. Подошел к византийцу совсем близко, правда, не без опаски. И сказал: — Вставай, надо воду поискать.

— Воду? Здесь?

— Вон там... — Халаф указал рукою вперед.

— В том песке?

— Здесь везде песок.

— Нет, есть еще и камень.

— Послушай, румийец или византиец, ты жить хочешь?

Деметрий опустил голову низко-низко.

— Хочешь? — не понял его бедуин.

— Да.

— Тогда вставай. Будь мужчиной. Вставай.

— Не могу...

— Сторишь на этом солнце. Вставай. Протяни мне руку.

Деметрий сказал:

— А твое имя? Ты не назвался...

— Халаф...

— Я умру на этом месте, Халаф.

— Не дури! Дай руку!

Халаф нагнулся, протянул обе руки. Византиец долго думал, а потом вытянул свои руки, и походили эти руки на плети, которыми погоняют ослов.

Нет, Халаф не в силах поднять тщедушного византийца.

— Оставь меня, Халаф.

Бедуин выпрямился, вдохнул воздух глубоко-глубоко, и он обжег ему легкие вместо того, чтобы влить в грудь малую толику силы.

— Послушай, византиец: или нам суждено умереть вместе, или пожить еще немножко. И тоже вместе.

— Ты так думаешь?.. Как тебя зовут?

— Халаф. Я же сказал тебе.

— Я, кажется, схожу с ума.

Бедуин сказал:

— Отдай мне нож.

— Бери, — сказал Деметрий.

— Ты это вправду?

— Бери, говорю.

Халаф не ожидал такого поворота: отдать нож добровольно? В этой пустыне, где немало зверья? Наверное, шутит этот Деметрий...

Но тому было не до шуток: расстегнул ремень из сыромятной верблюжьей кожи и бросил нож наземь. Вместе с ремнем.

— А теперь вставай, Деметрий.

— Не могу!

— Нет, можешь!

— Разве там вода? — византиец кивнул в сторону вади.

— Там много воды! — воскликнул бедуин, словно вдруг заметил прекрасный родник. — Но мне не в чем принести...

— Напейся сам.

— Одному нельзя.

— А вдвоем?

— Вставай, Деметрий. Ради меня.

— А кто ты?

Византиец поднял кверху пустые глаза, в которых жизнь боролась со смертью. «Кто же в них побеждает?» — спросил себя Халаф. И сам же ответил: «Смерть».

Халаф был близок к правде. Близок, но не более. Он полюбовался ножом. Сказать по правде, отличной выделки. Наверное, ковали его в Дамаске. Но ведь ремень-то чисто бедуинский. Откуда у византийца этот ремень и этот страшный нож, которым пользуются на живодерне?

— Послушай, византиец: я уйду и оставлю тебя здесь.

Легкий кивок головы.

— Совсем уйду.

Еще кивок.

— Я это серьезно.

Молчание.

— Ты меня слышишь? Уйду, и тебя съедят гиены и лисы. Я предупреждаю тебя... И совесть моя будет чиста. Слышишь?

Византиец сделался словно каменный — он не шевелился. Молчал. Словно не слышал слов бедуина.

Халаф опоясался ремнем, сдвинул тяжелый нож набок и опустился на колени перед Деметрием.

— Голова раскалывается, — сказал он. Халаф разорвал свой шерстяной платок надвое и покрыл голову Деметрия. «Еще живой», — сказал про себя бедуин, наблюдая, как пульсирует вздувшаяся жила на виске византийца.

Бедуин стал позади Деметрия, просунул руки под мышки ему и попытался приподнять.

— И ты старайся, — сказал бедуин. — Напрягись. Мне худо без твоей помощи. Слышишь меня?

Деметрий закашлялся, выхаркал горсть песка и стал на колени.

— Хорошо, — сказал бедуин. — Теперь — в рост. В полный рост. Давай! Давай!

Наконец-то: византиец — на ногах.

— Теперь — туда! Шаг... Еще шаг...

И они поплелись к вади. Византиец все молчал, словно язык проглотил, а бедуин подбодрял его.

— Я чувствую воду, — говорил он. — У нее тоже свой запах, как у цветов в саду. Да, да! Уж я-то знаю пустыню. Я родился на песке, вырос на песке и умру на нем. Я даже вижу кое-что...

Говоря это, Халаф подталкивал византийца, по-нуждая его двигаться в сторону вади. Вдруг Деметрий воспротивился. Уперся ногою в торчащий черный камень.

— Послушай, бедуин, — голос Деметрия дрожал, точнее, дребезжал. — Зачем я тебе нужен? Чего ты мучаешься со мной? Иди своей дорогой...

— У нас теперь одна дорога...

— Неправда! Дороги у нас разные. Разве не знаешь, разве не слышал, какую резню над бедуинами учинил наш царь Константин? И не где-нибудь, но у вас под боком. На берегу Евфрата...

— Евфрат река или море?

— Река.

— И что же?

— Там много полегло бедуинов.

— Из нашего племени, Деметрий?

— Сказать трудно.

— Когда это случилось?

— Давно.

— Я этого не помню. Надо торопиться к воде.

Византиец повернулся лицом к бедуину. В глазах Деметрия полно влаги...

— Послушай, бедуин, оставь меня. Я хочу умереть.

— Ты совершил преступление?

— Не я, а мои родители.


— Что натворили они?

— Они меня сотворили. Понял?

Бедуин был непреклонен:

— Мы идем к воде.

— Нет сил.

- 
- Идем к воде!  
— Я же конченный.  
— Это увидим там... Когда хлебом холодненькой

воды.

Византиец поднял руки к небу. В это мгновение он стал походить на многомудрого мудреца. И он обратился к небу с такой речью:

— Боже, ты видишь, как страдает твой раб! Ты ведаешь все, что пришлось мне пережить. Ты привел меня сюда и не хочешь подать руки. Наверное, повинен я, очень повинен. Но сделай милость: возьми мою душу!

Бедуин с удивлением внимал этим словам византийца. Ясно одно: Деметрий обращается к кому-то, который в небе. Но кто там? Халаф зорко вглядывался в высоченную высоту, которая распростерлась, как шатер, надо всей Аравией. «Но почему он обращается к небу на моем языке? — подумал Халаф. — Или наверно там не знают другого?»

У Деметрия упали руки и повисли, точно они были привязаны к плечам тонкой веревочкой.

— Еще поговоришь с ним? — бедуин поворотил Деметрия лицом к вади.

— Буду, — и теперь уж заговорил на своем языке. И ничего не понял Халаф, ни единого слова не уразумел.

И вновь упали книзу руки Деметрия, и голова уткнулась подбородком в костлявую грудь. «Он гремит костями», — сказал про себя бедуин. И тут же подумал о себе: «Разве сам выгляжу лучше?»

— Наговорился, что ли? — спросил нетерпеливо Халаф.

— Да.

— И что же?

— Воля его.

Бедуин поднял глаза к небу: оно, как обычно в эту пору, было белесым, выгоревшим на жарком солнце.

— Ладно, пошли.

И две человеческие тени — точнее то, что остается от человека, из которого нещадно, день за днем вынимали душу, — доковыляли до крутого берега вадии. Крутого, но невысокого. Всего в несколько локтей.

— Почти у цели, — сказал бедуин невесело.



— Что это?

Халаф пояснил: вади это, вади.

— Сухая река?

— Может быть.

Невдалеке, шагах в пятидесяти, казалось, росла серобурая трава и колючие кустарники сбегались к этому месту — здесь они росли гуще.

Долго что-то выверял в уме бедуин, внимательно изучая местность. И как бы невзначай сказал:

— Слушай, византиец, с кем ты это разговаривал?

— Когда?

— Только что... Глядя на небо.

Кажется, язык прилип к небу Дементрия. С трудом ответил:

— Со своим богом.

— Как? — удивился бедуин.

Дементрий кивнул.

— И что он сказал тебе?

— Он слишком велик, чтобы говорить со мной.

Это было любопытно. Бедуин тоже мог обратиться с просьбой. Однако просьбы следовало беречь на самый крайний случай... Его бог милосерден, но негоже надоедать ему, от милосердия до гнева — совсем недалеко.

— Он там? — бедуин указал на небо.

— Еще выше.

Халаф смерил византийца с головы до ног: будет жить? Говоря откровенно, не верилось, что душа византийца уцелеет в этой суровой стороне. Но тут же подумалось: а сам-то ты, Халаф?

— А где обитает твой бог? — услышал бедуин.

Халаф не ответил. Надо было шагать, действовать и поменьше рассуждать.

— Сюда! — скомандовал Халаф и скатился с берега, довольно каменистого.

За ним последовал и Дементрий. Какая-то сила толкала бедуина к этому сборищу кустарников. Неспроста они сошлись на этом месте — посредине вади, в ее низине. Халаф торопился. Он даже чуточку побежал. И добежав до колючек, ткнул указательным пальцем правой руки в самый песок.

— Сюда! — позвал он Дементрия.

И когда тот приполз, Халаф достал нож.

— Молись и ты богу, потому что мое божество будет сейчас со мною, совсем рядом.

Наверное, Деметрий не понял значения этих слов. Он опустился на песок, опустился, чтобы лечь, ибо земля показалась ему чуточку прохладной, не такой горячей, как жаровня на огне.

— Лежи, — сказал бедуин, — а я попробую. Потом ты заменишь меня.

И принялся работать ножом. Он работал, как зверь, у которого нет другого выхода, кроме как выкопать колодец, если будет нужно, глубиной до самого подземного царства.

Рассказчик продолжал:

— И чем больше работал этим дамасским ножом бедуин по имени Халаф, тем больше прибывали к нему силы. Казалось, работа пробудила в нем такую решимость, которая уже не знала преград.

А еще прибывали силы к бедуину потому, что с каждым выкопанным локтем земли увеличивалась прохлада, которая касалась пальцев, и наконец-то показалась вода. Сначала в виде песчаной жижи, а потом и воды, правда, грязной. И вода эта заполнила маленькое подобие колодца.

Божество смилостивилось: вади отдало влагу, которая была схоронена в ее, казалось, безжизненной толще. И настал час, когда бедуин воскликнул:

— Вода!

И повалился наземь, подгребая себе под грудь мокрый прохладный песок.

## О ТОМ, КАК ДВОЕ ЧУТЬ НЕ УПАЛИ В ОБМОРОК ОТ УДИВЛЕНИЯ

Рассказчик продолжал:

— Византиец испил горсть мутноватой воды, воздел руки к нему и проговорил: «Халаф, я, кажется, спасен, ибо этот глоток, который уже во мне благодаря твоей настойчивости, придал мне силы более, чем целебные бальзамы дамасских врачей».

Халаф молча продолжал копать.

— Чем глубже, тем больше воды, — пояснил он. —

Мы дадим ей отстояться, и она обретет естественный вид.

Бедуин трудился так усердно, что вызывал удивление Деметрия. Византиец полагал, что воды уже вдоволь и что теперь следует подумать о пище.

На небе место солнца заняла луна, легче дышалось, но настойчивый бедуин словно бы и не пробовал еще вкуса воды. Рука уходила в глубь земли уже по самое плечо, а он все выгребал песок. Казалось, что Халаф решил выкопать настоящий колодец этим своим ножом.

— Не довольно ли? — спросил Деметрий. Он лежал на земле и вглядывался туда, где мерцали звезды. Понемногу приходил в себя, словно после страшной болезни.

— Когда ты без хлеба, — говорил бедуин, — вода заменяет его. Поэтому надо иметь про запас много воды. Нам повезло — русло оказалось не совсем сухим. В его толще нашлась вода. Мы можем прожить несколько дней на одной воде.

— А потом? — безучастно спросил Деметрий.

— Что — потом?

— Я говорю, что будет с нами после?

Бедуин впервые за их встречу улыбнулся:

— Я знаю одно: нельзя идти на восток. Я бежал оттуда. И лучше умру на этом месте, чем вернусь назад.

— А мне, — сказал Деметрий, — нельзя на север. И я лучше попадусь на зубы гиенам, чем поверну туда, откуда бежал.

Бедуин все рыл землю, выгребая ладонью песок, и отбрасывал его в сторону, пробуя воду на вкус.

— Надо глубже, — сказал он и продолжал, лежа на земле. — Значит, так: тебе нельзя на север, а мне на восток. Насколько мне известно, на юге — йеменская земля. Но туда могут перенести только джинны, ибо это очень и очень далеко. Остается идти за солнцем. Египетская земля на западе.

— Послушай, бедуин, — сказал Деметрий, не спуская глаз с яркой звезды над головою, — что говорят твои соплеменники...

— Они о многом говорят и многое знают...

— Я имею в виду только одно.



— Говори же яснее, византиец.

— Как добыть хлеб или кусок мяса в этих местах?

Халаф усмехнулся:

— Смерть найти легче.

— Это — как везде, — сказал Деметрий.

После этого византиец надолго замолк.

— Бедуин, — вдруг обратился Деметрий к Халафу, неистово выгребавшему землю, — я все думаю, думаю... Зачем ты с такой настойчивостью хотел спасти меня от смерти? Зачем, спрашиваю? Кто я тебе: брат, отец, сын?.. Ну кто? Скорее всего враг. Наши цари не щадят вас. Зачем вы должны щадить нас?

— Вода стала холоднее, — с радостью сообщил бедуин.

— Вот и думаю: зачем я тебе сдался? Во-первых... Слышишь? Во-первых, тебе придется делиться со мной водой... А ежели поймем съедобного зверя? Тоже на двоих?..

— Пошла настоящая вода...

— Ты в этих песках — свой человек. А я? Может, меня тебе придется тащить на своем горбу. А если умру? Опять же труд: придется могилу копать.

— Намного вкуснее стала...

— Вот и гадаю: зачем я тебе нужен? А ежели вдруг нас подберут твои земляки — убьют же меня! Да и тебе не поздоровится. Потому что мы разной веры и не до дружбы тут. Ты молишься разным божкам, а у нас бог — единый. И добрый, и сердитый. Смотря по обстоятельствам... Вон еще звезда упала...

— Только попробуй — настоящий родник.

— Ты о воде, Халаф?

— О чем же еще?

— Я говорю: меня удивляет твое поведение. Зачем ты оставил меня в живых?

— А сейчас так, — сказал Халаф, перевернувшись на спину и тоже подставляя лицо бесчисленным звездам: — дадим отстояться и выпьем по-царски. Не торопясь.

Вдруг Халаф присел. Его точно ужалили. Прислушался к тишине.

— Что с тобой, бедуин?

— Тише.

Бедуин усталился на противоположный берег вадн. Ему что-то не понравилось, что-то встревожило.

— Ти-ше!

Деметрий зачерпнул ладонью воды, побрызгал себе на лоб и тоже посмотрел на тот берег.

— Видишь? — прошептал бедуин.

— Нет.

— На высоком гребне...

— Не вижу.

— Совсем слепой... А теперь?

Халаф был до крайности встревожен. Он видел нечто, чего не хватал глаз византийца.

— На него падает лунный луч. Он светится... Он движется...

— Убей меня, — признался Деметрий, — ничего не вижу.

— Там что-то движется. Это не тень. И не привидение. И не джинн. Потому что свет луны ложится на него и отсвечивает.

Как ни старался византиец увидеть нечто — так ничего и не приметил. Пустыня была пустынна, ночь тиха, а звезды безмолвны. Правда, луна светила ярко, но было достаточно темно для глаз — достаточно, чтобы ничего не видеть.

— Там кто-то бредет, — сказал Халаф взволнованно.

— Халаф, тебе хорошо ведь известен мираж...

— Что это? С чем его едят?

— У тебя еда на уме? Это — то, что якобы видят глаза, а на самом деле — ничего нет. В великой сирийской пустыне многие его видели.

— А ты сам?

— И я, когда ходил с купеческими караванами.

— Значит, ты купец?

— Я — холуй.

— И кто тебя этому слову научил? Я слышал его только в Медном городе.

— Холуев везде достает. Даже там, где только одни холуи.

Халаф не спускал глаз с того берега, где якобы маячила некая тень. Но византиец говорил занятно, и невольно слушал его речь.

— Разве есть страна, где одни холуи?

— Есть и страна, и города. Умные люди рассказы-  
вают о них. Мы все холуи, утверждают они. Но у каж-  
дого из них есть свой холуй.

— Удивительно, Деметрий!

— Ничего удивительного... Дай напиток — я еще  
и не то расскажу. Знай же: этот подлунный мир гроша  
ломаного не стоит.

— А я и не знал, Деметрий.

— Скоро узнаешь... Дай еще глоток... Вкусная во-  
да...

— Тень присела, — сказал Халаф.

— Разве она во плоти?

— Кто ее разберет?.. Пей еще... Кажется, ударил  
родник. Я об этом просил свое божество. Умолял его.

— Мне по душе эта вода, — сказал византиец, вы-  
тирая ладонью губы. — Чем больше пью, тем больше  
хлеба хочется.

— Это оттого, что силы прибывают... Она встала,  
пошла, пошла!

— А почему я не вижу ее?

— Да вон она, вон!

Халаф указывал рукою, где находится подозри-  
тельная тень:

— Видишь?

— Кажется... Кто же это?

Ну вот, наконец-то, византиец струсил. Точно стру-  
сил! Бросился наземь. Подполз к Халафу. Заговорил  
шепотом. Бедуин не слушал его, соображая, как быть.  
Можно так: выдать себя, идти вперед, на встречу с те-  
нью. Но можно иначе: схорониться в бархане, дож-  
даться утра, а ежели будет нужда, то напасть пер-  
выми.

— Теперь вижу и я, — прошептал Деметрий. —  
Это человек. Не зверь.

— Это хуже, — заметил Халаф.

— Разве? Ты же подал мне руку.

Халаф обильно смочил лоб водою.

— Нет, — мрачно сказал он, — поначалу я хотел  
было убить тебя.

— Он спускается, Халаф.

— Нет, он ложится на землю. Вглядись получше.

Деметрий ничего уже не видел.

— Улегся.

— А, может, умирает?

— Он вроде нас, — сказал Халаф.

И не говоря более ни слова, бедуин пополз, как змея по песку. Неслышно. Византиец не успел опомниться, чтобы остановить Халафа. Но куда там! Бедуин растворился во тьме, хоть и сияла луна, хоть и сверкали звезды. Оставалось ждать. Ждать, как ждет смертного часа приговоренный к гибели. «Он нашел меня, и он же бросил», — подумал Деметрий и зачерпнул рукою прохладной воды. И положил себе на грудь прохладную ладонь. И сказал себе твердо: «На все воля Его». И обратил взор к небу. Очень крепился духом Деметрий, а плоть его дрогнула. И противный холодок пронесся с самого затылка до пят.

Кто скажет, сколько времени отсутствовал бедуин? Может, не так уж много.

И он все-таки вернулся. Не погиб. Не подвел. Вернулся.

Приполз и приник к воде, которая почти заполнила малюсенький колодец. Пил долго. Как лошадь после утомительной дороги. И только потом сказал:

— Деметрий, там человек.

— Живой?

— Он спит. Он спит, как мертвый. Я не посмел его будить. Я хотел посоветоваться с тобой, ибо мы теперь как одно целое. Неправда?

— Правда, Халаф.

— И убивать не стал.

— Зачем? — сказал Деметрий.

— Что же будем делать?

## РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИНЯЛ БЕДУИН

Рассказчик продолжал повествование:

— Я боюсь, — признался византиец.

— Его, что ли? — бедуин кивнул в сторону того берега вади.

— Да, и его. Я могу представить себе, как убивают меня и как я умираю в мучениях. Но поднять сейчас руку на себе подобного — я не могу. Понимаешь? — не могу!

— Вода пошла на пользу тебе, Деметрий. И голос окреп, вроде бы не скрипит. И слова произносишь пра-

вильно. Но ты чужеземец на этой земле — это ясно поговору, если даже напоить тебя вином и угостить ба-  
раниной.

— Что ждет нас, Халаф?

— Старший в нашем роду всегда предупреждал нас: впереди только смерть. Ты понял меня, византиец?

— Да, вполне.

— И все-таки боишься?

— Очень.

— Чего?

— Его. Кто он? Знает ли, что мы здесь и кто мы?

— Он спит, как мертвый.

— Может, притворяется. Теперь, когда я восстал из мертвых, я боюсь его.

— А ты спи.

— Я? — византиец воздел очи к небу. — Я буду спать, а ты?

— Один из нас должен бодрствовать. Им буду я.

Деметрий съезжился, словно над ним завис княжеский кнут. Халаф ясно видел при свете луны испуганно мигающие глаза и дергающиеся щеки, плотно облегающие скулы и челюсти. «Наверное, и у меня такое же лицо, — подумал Халаф. — Я тоже боюсь, но не подаю вида».

Два смертных существа боялись третьего, себе подобного. Боялись, не зная его намерений. Это же удивительно!

— Ты не боишься, а я боюсь, — сказал византиец. — Ты сильный, настоящий мужчина, а я — немощен.

— Ты говори, говори, а я буду смотреть в ту сторону. Ты понял меня?

— Я все понимаю, Халаф, но говор твой немножко иной, чем тот, дамаский. Но я понимаю все, я хочу сказать, что боюсь, и даже очень. А боюсь потому, что не ведаю, кто он и что ему нужно. Может, он ищет меня?

— Разве ты преступник?

— Все мы преступники, — уклончиво ответил Деметрий.

— Нет, не все. Я — не преступник. Но, говоря откровенно, и я боюсь. Хочешь убедиться, как я дрожу? Тронь мою руку.

— Не буду, Халаф. Один из нас должен быть



храбрым. И им должен быть ты. Только так, — Деметрий бросился на песок, приложил ухо к земле. — И прошептал: — Я что-то слышу. Ей-богу, слышу!

Халаф впился взором во мглу. Он всегда хвастал, что ночью у него глаза кошачьи. Что же он видел? Ровным счетом — ничего!

Деметрий продолжал, стуча зубами:

— Нет, он увидел нас. Негодяй заметил нас и притворился спящим. Уйдем отсюда, Халаф!

Бедуин сказал:

— Бросить эту воду? А еще учти: нас двое, а он — один.

— У него, наверное, имеется оружие. Может, кинжал.

— Не заметил кинжала.

— А копьё?

— И копыя не видел.

— Он ищет нас.

— Меня? — Халаф замотал головой, как лошадь на водопое. — Кто найдет меня? И кому я нужен? Вот тебя, наверное, ищут.

— Он это сказал?

— Кто — он?

— Тот, который якобы спит.

«Он спятил, — подумал Халаф. — Сумасшедший опаснее врага. Откуда он взялся на мою голову?». Но тут же вспомнил о дамасском кинжале и укорил себя: «Надо успокоить его, совесть его не чиста — это ясно. Но об этом после»...

— Послушай, Деметрий, — сказал бедуин. — Тот, который там, действительно спит. Он спит, как мертвый. Не бойся его. Положись на меня. А ежели хочешь задать работу своей башке, то лучше сообрази: как раздобыть пищу? Что ты знаешь о живности в пустыне, которая съедобна? Я добыл воду. Теперь помоги ты — раздобудь пищу.

— А он?

— Он спит.

— Притворяется.

— Нет. Говорю же тебе — дрыхнет.

— Может, напасть на него? Ведь ночь. Не видит и не слышит. Мы его одолеем. А если при нем оружие — отберем его. Понял меня, бедуин? Мои намерения про-

сты. Их не надо долго придумывать. Сами собою напрашиваются. Может, я говорю не то? Чего молчишь?

— Послушай, византиец: я — дитя этих песков, ты — дитя города. Доверься мне.

— Я боюсь. Ты понимаешь? Он выследил меня. А за тем холмом, может, целая свора собак.

— Я не слышу лая.

— Они хуже собак, Халаф. Ты встречал человека, который хуже собаки?

— Собаки бывают добрые.

— Я говорю о собаках бешеных.

Халаф тяжело вздохнул:

— Я видел многое. На моей спине — следы виденного. На моей душе — следы пережитого.

Рассказчик сказал далее:

— Когда над пустыней появилась позолоченая камемка, — на востоке, — и глаза стали различать даже небольшие предметы, Халаф сказал своему невольному спутнику:

— Сдается мне, что человек исчез. Это дурной знак. Он увидел нас на рассвете раньше, чем мы его. Проспали мы — вот что!

— Он был на этом бархане?

— Левее впадины. Видишь впадину?

— Там пусто.

— В том-то все и дело, Деметрий. Я опасался этого.

— Наверное, ушел к своим. Они за барханами.

— Надо было связать его. Ночью. Ты был прав...

— Или прибить...

Халаф озибался, точно вор, совершивший крупную кражу. Глаза его бегали, и в них явственно обозначался испуг. Он лег на землю и то же самое велел проделать византийцу. Он пытался слиться с землей. От испуга начал заикаться.

— Они прислали за... за... за мной, — с трудом говорил он. Взял нож и сжал рукоятку до хруста в пальцах.

— А скорее всего — за мной, — сказал Деметрий. — Они всегда грозились, что достанут любого даже с морского дна.

Слова эти Халаф пропустил мимо ушей. Не до ви-

зантийца было. Куда подевался этот бородатый мужчина?

— Это все они, — сказал он. — Я знаю хорошо: они. Подослали-таки! Нашли-таки!.. Деметрий, он видит нас?

Византиец лежал недвижно, распластавшись на земле. Небо на востоке все больше золотилось, и явственнее становились предметы на земле. Противоположный берег вади, как и гребни бархан, был, как на ладони.

— Никого не видно?

— Ни души.

— Это плохо, Деметрий. Он мог обойти нас с этой стороны.

Халаф мигом изменил свое положение на земле.

— А ты лежи, как лежишь, Деметрий!

Отдав этот приказ, Халаф обследовал всю окрестность, но ничего особенного не обнаружил. Песок да мелкий кустарник... Небо да земля...

— Они наверняка поклялись настичь меня всюду в подлунном мире. Деметрий, они очень опасны и держат свое слово.

— Значит, охотятся и за тобой? — удивился Деметрий.

— А ты как думал?!

Бедуин посерел лицом. Скулы задергались. И сам он весь дергался.

— Боишься, Халаф? — спросил византиец.

— Признаюсь: да! А ночью не трусил.

— А ты успокойся. Все равно нас ждут не дождутся вон там, — и Деметрий указал на небо.

Халаф не придавал значения этим словам: кто может ждать на небе?

Уже и солнце показалось, и тени пошли по земле. Наступил день, полный тревог. Может, последний день для этих двух пленников пустыни...

Вдруг Деметрий встрепенулся. Будто ударили его в самую печень. Он схватил за руку бедуина.

— Смотри! — хрипло произнес византиец.

Он лежал, упершись подбородком в бурый камень, и указательный перст его был направлен на тот берег. И он застыл.

— Где? Где? — Халаф плотнее прижался к земле.

— Вот там... левее впадины. Под высоким гребнем.  
Наконец, прозрел этот бедуин: некто зарылся в песок, но макушка его была приметна. Более того: целых полголовы. То ли она была посыпана песком, то ли седьмы были волосы. Но не в этом суть: кто-то хитро залег, с того берега кто-то следил за двумя пленниками пустыни.

— Он шевелится...

— Вот сверкнули его глаза...

— Пятится назад...

— Боится нас, что ли?

— Он лежит неподвижно... Ему нужны мы. Я или ты.

— Это соглядатай. Но где же его товарищи?

— Они за барханами...

Рассказчик сказал:

— Что, на наш взгляд, самое удивительное в этой истории? Уточним: истории не столь уж заурядной, но и не выдуманной из головы, истории, в которой нет джиннов и прочих злых духов. Одни скажут, отвечая на вышеозначенный вопрос, так: удивительна сама встреча трех людей в огромной пустыне. Другие: важно то, что ожидает их. А третьи несомненно скажут: самое удивительное не то, что трое повстречались в пустыне, а тот страх, который обуял каждого из них. В чем дело? Почему человек боится человека? Кто задавался этим вопросом? Были в древности мудрецы, пояснявшие, что существа, которых вроде бы должен сблизать их разум, вдруг начинают трустить при виде себе подобного.

Поглядите, что происходит в пустыне: двое залегли по одну сторону вади, третий — по другую. Вместо того, чтобы взяться за руки и попытаться совместно выжить, их трясет страх. Точно лихорадка. Отчасти это объясняется их прошлым, о котором речь впереди.

Солнце давно уже в зените, под его лучами раскалилась земля, и, если б не вода, эти двое давно бы изошли паром, изошли и исчезли, подобно многим джиннам, выпущенным на волю из запечатанных кувшинов.

— А у него вода есть? — сказал Деметрий.

— Похоже, что нет.

— Может, у него бурдюк под мышкой?

— Надолго его не хватит.

— Мы будем лежать, Халаф?

— Не знаю.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Я подожду, пока солнце не покатится вниз на десять градусов.

— Не понимаю тебя.

— Словом, пока подожду.

— А потом?

— Я больше не могу так. Пусть лучше убьет меня. Халаф бросил на Деметрия взгляд, полный презрения. Но, подумав, сказал:

— Еще немного терпения. Я придумаю что-нибудь.

— Он видит нас и не боится нас?

— Не знаю, — Халаф отпил большой глоток воды из горсти, освежил лицо и неожиданно вскочил на ноги и встал во весь рост. Византиец чуть не охнул во весь голос.

— Он же увидит, — проговорил он противно, скрипуче.

— Я иду к нему!

Халаф выпятил грудь, заложил за спину руку, в которой держал нож. И зашагал. Твердо. Уверенно. Решительно.

— И я с тобой, — крикнул Деметрий и спустился с берега в русло вади.

Достигнув противоположного берега, Халаф поднял высоко нож, словно пытался проделать прореху в небе.

— Эй, кто ты? — крикнул он.

Молчание.

— Мне некогда церемониться: говори, кто ты? Твоя душа в моих руках.

И тут Халаф услышал то, что услышал:

— Я бедный ювелир. Зовут меня Саул бен Ицхак. Голос словно бы доносился из-под земли.

— Повтори! — приказал Халаф и оглянулся, чтобы приободрить Деметрия властным взглядом. Тот сидел на корточках, готовый в любое мгновение пасть на землю.

— Ювелир я. Саул мое имя.

— Еврей, что ли?



- Да, из Ханаана.
- Что это, город?
- Нет, земля... Послушайте, добрые разбойники, не убивайте меня, но возьмите мой перстень, который в большой цене.
- Где научился лопотать по-нашему?
- У себя. В Ханаане.
- У тебя есть оружие?
- Есть, но не очень грозное: Слово его название.
- Ты, как погляжу, остролов.
- А что остается еще?
- Деметрий, — сказал Халаф, — ты понимаешь, что творится в этой глухой пустыне?
- Не совсем.
- И я тоже.

Между тем еврей встал в свой маленький рост и показал пустые ладони.

- Как твое имя? Повтори.
- Саул.
- Тебе нравится здесь, Саул?
- Очень, — с удовольствием признался еврей. — Здесь такое богатство...
- Что здесь? — удивился Халаф.
- Целое богатство. Смотри, сколько песку: без края, без границы.
- Шутишь, еврей...
- А кто этот, другой?..
- Мой товарищ.
- Тоже бедуин?
- Нет, византиец. Из Дамаска.
- Прекрасная могила на троих.
- Еврей был волосатый. Волосы комьями, словно слепленные глиной. Борода кольцами. Смешной такой в длиннополой одежде.
- Я обещал перстень, — сказал еврей. — Вот он.
- Сдался нам твой перстень! Лучше подай кусок хлеба.
- Разве вы без...
- Деметрий перебил его:
- Не успели достать его из печи.
- А как с водой? — Еврей шурил воспаленные веки.

- Ты что в лавке, что ли? — рассердился Халаф.
- Это пустыня, понял?
- А что вы пили? Там...
- Приметил-таки?
- Еще бы! Воду я нюхом чую. Как собака дичь.
- Значит, ни хлеба, ни воды. Один перстень. Ты что на свадьбу собрался?
- Сказать по правде, да.
- Ты напугал нас, Саул.
- Это я-то? — удивился ювелир.
- Халаф косился на ювелира. Угрюмо спросил:
- А там никого нет? За барханами?
- Полным-полно... Да, да! Песку!
- Скоро ты забудешь свои шуточки.

## ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ МЕДНОГО ГОРОДА

Рассказчик говорил, продолжая свой рассказ:

— Сказанный ювелир оказался добрым посланцем судьбы. У него имелся в потайном кармане широкого балахона, — а как еще назовешь мешковатое одеяние, которое ни халат, ни ганабатийя? — какое-то волшебное стеклышко. Его изготовили финикийские мастера, и при помощи ничтожного на вид стеклышка можно было добыть огонь от солнца. Халаф поймал некоего зверька пустыни, изжарил на огне, разведенном ювелиром, и трое пустынников подкрепились едою, и воды напились, которая, отстоявшись, показалась истинным шербетом.

И когда луна осветила мир ей одной присущим светом, ювелир Саул сказал:

— А не пора ли нам кое-что поведать о себе друг другу?

— В самом деле, — поддержал Деметрий, — давайте знакомиться.

— Зачем? — угрюмо спросил Халаф.

— Воистину удивительный вопрос, — сказал ювелир. — В этой пустыне мы словно в одном челне, который плывет в океане по воле волн. Нам ли не знать друг о друге то, что надлежит знать друзьям.

— Другьям? — усомнился Халаф и покосился на византийца.

— А почему б и не быть друзьями? — сказал Деметрий. — Мы друзья по несчастью.

— Это — пожалуй, — согласился Халаф. — А что, если воспоминания разорвут мое сердце?

— Они такие страшные?

— Да, Деметрий. И лучше их не ворошить. Полезней глядеть на звезды и думать о том, что предпринять с рассветом.

Ювелир хихикнул:

— Надо еще ночь прожить. Случайно, это не шакалы воют? Или гиены?

— Ты угадал, — сказал Халаф. — И они могут пожаловать к нам в гости.

— Приятная новость, бедуин! Благодарю покорно! — И ювелир подбросил в костер хвороста.

— Я скажу так, — начал бедуин, — я на вершине счастья. И вот почему: когда вспомню все, что пережил я и от чего бежал сломя голову...

— Об этом ты и расскажи, — попросил ювелир.

— Наверное, придется, ибо если не выживу, вы, по крайней мере, будете знать, кого похоронили.

— Мудро сказано, Халаф, — похвалил византиец, приготовившийся слушать бедуина.

Бедуин чуть прикрыл глаза и приступил к обещанным воспоминаниям:

— Да будет вам известно, что племя, которое мне родное, славится благородством и доблестью. Но это вовсе не значит, что все мои братья и сам я таков. Сволочей хватает везде. Так я думаю. Ибо, ежели было б не так, а иначе, не попал бы я в лапы к царю, который верховодит в Медном городе. А стоит этот город на востоке. Дорога ведет к нему от моря. Чтобы попасть в этот город, надо пройти мимо Медной горы. Если скажу, что дорогу в Медный город охраняют джинны — вы не поверите. И правильно сделаете! Но люди, которые на той дороге, вооруженные кинжалами и копьями — похуже джиннов всех стран и времен. Увидя их, я воскликнул:

— Разве вы не бедуины?!

И тогда получил такого тумака, что покатился на землю. А когда пришел в себя, некий бородач сказал:

— Ты прав, юноша, мы — бедуины. Что же с того?

— Значит, мы братья...



И тут последовал еще один удар, после которого у меня отпала всякая охота говорить о братстве. Потом поволокли к начальнику города, не к самому главному, а к его холую. Был он похож на раздувшуюся жабу. На его жирных пальцах сверкали драгоценные камни, подобно этим звездам на западе. Глаза его заплавлены жиром, а одеяния на нем были сплошь из златотканной персидской парчи и шелка китайской выделки.

Увидев меня, этот джинн в образе толстяка осклабился. Оглядел, как вкусного цыпленка, зажаренного к столу.

Я стоял перед ним на коленях. Так велели его подручные.

— А почему он не ляжет? — спросила жаба подручных.

И меня тотчас же повалили наземь, как бревно, и я расластался. И по приказанию жабы поцеловал землю перед ним. И подумал: «Куда же девалась моя гордость?» И понял — куда: она улетучилась после первых же плевков и битья, коими награждали меня джинны всю дорогу от Медной горы до Медного города, до его золотых Главных ворот.

— У тебя есть язык? — спросила жаба.

Я посмотрел на него снизу вверх и выдавил из себя:

— Есть.

— Так скажи что-нибудь!

Я исполнил приказание и проговорил, запинаясь:

— О, великий царь нашего времени! Я — бедуин из племени Кальб. Плыл на корабле в Басру. Твои люди захватили корабль, и вот я — перед тобой...

Жаба захохотала, а вместе с ним и все заплечных дел мастера.

— И это все, что ты хотел выложить, несчастный? — жаба еще больше раздулась.

Я молчал. От страха у меня стучали зубы.

— Эй вы! — крикнула жаба. — Разве не видите, что этот заика онемел от жажды?! Дайте ему глоточек ключевой воды.

Ко мне подбежали трое, схватили меня, чуть не разорвали челюсти и влили в меня кувшин вонючей воды. Я потерял сознание. А когда пришел в себя, то оказался на земле в каком-то пустом помещении. В ок-

нах мерцал слабый вечерний свет, но все-таки я узнал моих мучителей.

— Этот червяк зашевелился, — сказал один из них.

На меня надели кандалы, кованые, медные, и выволокли во двор. Там оказался некий господин, стройный, как кипарис. Он обратился ко мне глухим голосом:

— Отныне ты мой раб.

— Я вольный бедуин, — сказал я.

— Он все еще не пришел в себя, — заметил господин.

Новый град ударов посыпался на меня — на голову, на грудь, на живот. После чего покорно сказал:

— Я понял тебя, господин.

А господин снял с головы пестрый платок и покрыл им свою грудь:

— Юноша, — сказал он еще глуше, — жизнь в этом великом городе подобна этому рисунку. Здесь ты видишь кружочки зеленого цвета. Такова жизнь одних — славная, удивительно красивая, неистощимая в любви и радости. Есть тут кружочки белые. Это — символы судьбы. Судьбы тех, кто делает жизнь города радостной и благодатной. А вот и кружочки черные. Это есть опора всего: чернь, которая подпирает этот город своими плечами, которая орошает эту землю своим потом и делает ее плодородной. Мы уважаем тех, кто стоит за этими кружочками, не даем им умереть. Но, юноша, — да упасут тебя все боги пустынь и оазисов от ослушания, от нерадивости, от лени и прочих недостатков! Ибо недостатки эти навлекут на тебя гнев богов и ты будешь искать смерти и не найдешь ее. Раб, ты понял меня?

— Да, — проговорил я.

— В таком случае пусть он лучше запомнит это самое «да».

Тут меня свалили с ног и нещадно избили.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА БЕДУИНА

Рассказчик не прерывал нити своего повествования:

— Халаф сидел у костра, покачивался из стороны в сторону и вспоминал о Медном городе, говоря:

— Я жил в дальнем углу сада моего господина, и

собачья конура была моим домом. Еда тоже была собачья: я обгладывал кости, которые кидал наземь поваренок. А бросал он остатки пищи главного повара, не глядя мне в глаза. Но понемногу привык ко мне и однажды сказал:

— Мой отец—раб этого города. И мать моя — рабыня. Нас доставили с запада, и мы медленно издыхаем здесь.

— Кто наш господин и какого он звания? Как имя его?

— Этого я не знаю, — ответил поваренок. — Он недосыгаем для нас, как солнце или луна. Он живет за теми мимозами, и сладкое пение часто доносится оттуда.

— Не тот ли, что станом походит на кипарис, а голос у него, как у простуженной гиены?

— Не знаю.

Придя однажды в свою конуру, я застал перед входом некоего молодца, прилично одетого и благородного с виду. (Я позабыл сказать, что обязанностью моей была прополка рядов, которые между кустами в саду. Я гнул спину с рассвета до вечерней зари).

— Юноша, — обратился ко мне незнакомец, — скажи мне, кто ты и откуда?

Я молчал, оробев.

— Не бойся меня. Я такой же, как ты. Иногда я услаждаю слух моего господина чтением стихов и поэтому одежда моя приличней твоей. Это не от его доброты. Нет, просто главная госпожа не выносит рабского пота.

— Не тот ли мой господин, что походит на кипарис?

— Их здесь много, этих господ. Учти только: господин есть господин, а ты — червь.

Я рассказал о себе коротко, но ясно.

— Да, — задумчиво проговорил он, выслушав меня, — попал ты, юноша, в переделку. Молись своему богу, чтобы душа твоя не улетучилась из груди твоей прежде времени.

Осмелев, я спросил:

— От чего озверели эти господа Медного города? Неужели надо владеть рабами и жиреть на крови себе подобных? Неужели нет у них другого выхода?

— О, юноша, ты задаешь мне слишком сложные

вопросы! Я попытался ответить на подобные в одном из своих стихотворений. Послушай и запомни эти слова, ибо они правдивы: «Жизнь все суровеет и гасит надежды в груди... О мой друг, о мой друг, не спеши умирать... Много зла, много зла — это верно, но после тяжелой и душной ночи все же наступит заря... Тебя нещадно грызут, а ты стой, как скала, ибо нет у тебя дороги другой, кроме как стоять, как скала»...

— Это очень красиво! — воскликнул я. И я говорил сухую правду.

— Расскажи мне, Халаф, что делается в обширном мире, потому что не могу я выйти из города.

— Они отшибли мне память, — признался я. — Но со временем кое-что вспомню.

— Бедняга, — пожалел меня поэт. — Моя обязанность — жалеть людей, но большего сделать не могу.

Так мы говорили с ним. Между тем взошла луна.

— Хорош этот мир, — сорвалось у меня.

— Ты прав, — сказал поэт, — этот мир создан для песен и танцев, для любви и радости. Но увы! Что делать с поганью, которая выросла рядом с розами? Что делать с теми, которые в том господском доме?

Я пожал плечами, ибо это было выше моего понимания. Моя спина так еще болела, так еще ныла грудь, которую нещадноогревали тяжелыми канатами, что я все еще не совсем ясно представлял, в какое попал положение. В нашей палатке я часто слышал рассказы бывалых людей, ходивших в дальние страны, о подводных и подземных царствах, где верховодили разные жестокие чудища. Но те, как говорили, не имели человеческого обличья. А здесь, в Медном городе?..

Поэт не стал успокаивать меня. Он сказал:

— Халаф, ты увидишь еще не то. Это только начало. Готовься к худшему. Укроти свое сердце. Последуй моему стихотворному совету: «О, юноша, труден путь твой в подлунном мире, с избытком выпадет тебе горя в подлунном мире, но будь терпелив и сердцем тверд в этом мире, иначе нет тебе пути другого в этом мире»... Я приду еще к тебе, Халаф, увижу тебя и надеюсь, что ты не забудешь моих слов.

Я благодарно поцеловал руку поэту и проводил его до первой аллеи.

Начальником надо мной был некий садовник. Так же, как и я, — несчастный раб. Он тоже жил в конуре, но была она повыше моей, повместительней. Беззубый рот садовника издавал шамкающие звуки, и я не всегда понимал его речь. Глаза его пали на самое дно глазниц, отчего он плохо видел, а на одно ухо был вовсе туг. Его ребра легко можно было перечесть, настолько они выступали, а живот настолько втянут вовнутрь, что казался прилипшим к позвоночнику.

— Они отбили у меня охоту к пище, — пояснил он однажды. И посоветовал держать язык за зубами. Мол, позабудь свою речь, ибо ты уже не человек.

— Кто же я? — спросил его.

— Никто, — был ответ.

Я возмутился. Как это так — никто? А кто же? У меня руки, голова, ноги, я дышу, я мыслю, я — человек.

— Вот-вот, — перебил он меня. — Скоро возьмутся за тебя, и ты будешь такой же, как я. Понимаешь, где ты живешь? Это же Медный город! Если будешь мыслить и болтать, а вместе с тобою — я, с нами — другие?.. Что тогда станет с главным князем?

— Сколько лун уже прошло, а его я еще не видел. Где же этот главный князь?

— Зачем он тебе? Лучше помалкивай и делай свое дело. Мы заболтались с тобой. Остерегайся надсмотрщика.

Лежа в своей коморке — (она же — конура) — на земляном полу безо всякой подстилки, я думал о своей горькой судьбе. «Неужели, — говорил я, — стану таким же садовником, как мой начальник? Таким же беззубым и невольным, безо всякой охоты до жизни и до утех?»

Однажды я проспал зарю. Человек — не камень, он может проспать зарю, — и не раз, — если вконец изнурен работой. Случилось, что именно тогда мимо шли надсмотрщики. Они выволокли меня и потащили на другой конец сада. Ноги мои чертили глубокую колею на земле, которая изобиловала острыми камнями. Когда меня кинули на прохладный изразцовый пол, ступни мои кровоточили.

— Что с этой собакой? — спросил моих истязате-

лей толстяк. Он смотрел на меня так, словно был я змеей, а не одушевленным предметом в образе человека.

— Он слишком долго спал, — сказали ему.

— Разве у вас не достало палок?

— Вот они, — сказали надсмотрщики и выставили перед своим начальником здоровенные палки, вроде боевых персидских дубинок.

— За чем же стало дело, олухи?! — взревел начальник и, поджав под себя ноги, приготовился к интересному зрелищу.

И тут началось. Первый удар пришелся мне по пояснице, а второй — по животу. Третий — меж глаз. Наверное, долго дубасили меня, потому что когда пришел в себя — лежал я в холодной проточной воде и яркие звезды сверкали вверх.

Вытащил меня из воды мой садовник. Перенес в конуру, и я дня три лежал словно бездыханный.

— Что говорил я тебе? — услышал я шепелявого садовника. — Сынок, побереги себя. Забудь про белый свет. Считай, что ты в могиле, ибо в могиле лучше, чем под их дубинами.

Мне предстояло встать и поливать цветы. В противном случае меня ждали новые пытки.

Я вовсе пал духом...

## ПОКОИ ЗА ЧУЖИМ ПОРОГОМ

— Дни сменялись ночами, а ночи — днями, — продолжал свой рассказ Халаф. — Зубы покуда были целы, а раны на мне зажили, как на собаке.

Мой садовник, глядя на то, с каким усердием я поливаю цветы, сказал мне:

— Все верно. Все предначертано.

Я не совсем уразумел эти слова, но смысл их показался довольно ясным: дескать, и ты будешь, как я. А ведь у него почти отшибло память. Не помнил он ни родителей своих, ни братьев и ни сестер. Он был вроде бы человек, все понимал и был исполнителен в работе. Его уже не пытали. Я все старался угадать: осталось в нем что-либо человеческое или вовсе лишился он души? И это было немудрено, ибо он прожил в Медном городе долгие годы.

Я как-то спросил его:

— А хотел бы ты на свободу?

Он посмотрел, но не на меня, а куда-то в сторону. И долго, долго молчал.

Я повторил свой вопрос.

— На свободу — это куда? — прошамкал садовод.

— Туда! Туда, за городские ворота!

Садовод съехался, и я понял, что он очень стар. Не только худ, не только бледен, но и стар. Как я этого не заметил раньше?

— За городские ворота? — удивился он.

— Да, туда!

— Что там?

— Пустыня. Пустыня без извергов. Один песок да колючий кустарник.

Старик замотал головой. Заохал. Палец приложил к губам, дескать, молчи, молчи, молчи! Указал на деревья, ткнул пальцем себе в ухо. Это значило: и деревья имеют уши. Тут я накрепко зарубил себе на носу: язык надо держать за зубами. Да видно, поздно спохватился. Ибо случилось худшее.

Наутро, — а наше утро—это когда солнце еще не взошло, — явились два изверга. Вид у них был человеческий. Нет, не безобразные джинны или существа подземного царства! Люди вроде бы как люди. Однако в их глазах — вся злоба мира. Они говорили сквозь зубы, и усы у них подпрыгивали кверху, как видно, для вящего устрашения.

— Ты — Халаф? — справились они злобно.

— Да, — сказал я.

— Знаешь, что такое четвереньки? — и один из них достал из-за пазухи хлыст, свернутый втрое. Хлыст из верблюжьего хвоста.

Моя сообразительность живо подсказала образ действий, и я превратился в собачку. Или телка. Это смотря на чей вкус. И к моему стыду и позору, к смерти моей — я заторопился по аллее на четвереньках, подгоняемый заплечных дел мастерами. Садовник и его помощники видели все это и в страхе жались друг к другу.

В вышесказанном виде я и предстал пред очи его светлости начальника всех начальников господского

двора. Этого похабного старика я еще не знал в глаза, но кое-что о нем слышал. Начну с того, что этот жирный, хорошо откормленный старичок был похотливым, как обезьяна краснозадая.

Увидев меня, он вперил взгляд в то место, которое священо для каждого мужчины.

— О, юноша! — воскликнул он. — Встань поскорее! Что это привели тебя, как собаку?!

Я покорился.

Старик обратился к моим стражникам:

— Что он натворил?

— Сам скажет.

Старик закатил глаза. Он сделал вид, что пожалел меня, что не ведает ничего о моей провинности. Разумеется, хитрец знал все, ему донесли о моих словах про свободу и про пустыню.

— Юноша, — мягко проговорил старик, — слаб человек, в голове у него много бредовых мыслей. Они возникают как бы сами собой, как волны на морях. Но на то он и человек, чтобы стойко держаться на ногах... А ну, повернись ко мне спиной...

Я исполнил и это его желание.

— Совсем замучили беднягу. Смотрите же, — приказал он моим стражам, — отныне кормите его так же сытно, как бедуин кормит и поит своего любимого коня... Он волнует меня, клянусь луною!.. Выкупайте его, дайте ему благовоний и месяц — целый месяц от молодой до молодой луны, — кормите хлебом и отборными фруктами. И мяса молодого верблюда не жалейте, и ягненка также. Слышите, олухи?

Олухи поцеловали землю перед начальником и с почтением отвели меня в некие покои, где я зажил воистину по-княжески.

Однажды я попросил стражников пустить меня на аллею, где живет мой знакомый садовод. И меня отпустили.

Старик подивился моему виду.

--- Ты стал еще красивее и статней, — проговорил он.

И мы пошли с ним в глухой и отдаленный уголок сада, где росли колючие кусты и не было поблизости соглядатаев.



— Сын мой, — сказал старик, — я боюсь за тебя... Тебя хорошо кормят?

— Да. Очень.

— Прекрасно одевают?

— Да. Очень.

— Тебе дают шербет?

— Да.

— Теперь я боюсь за тебя еще больше! Несчастный! Тебя готовят для позорной жизни... Знаешь, что есть мужчина-наложница?

И старик схватился за голову, точно она у него раскалывалась...

Я и сам подозревал что-то неладное, но подобная мысль не приходила в голову.

— Тебя для начала оскопят, — сказал старик.

Я чуть не упал в обморок. Голова закружилась, и, чтобы не свалиться, обхватил садовника.

— Я погиб, — прошептал я, — ибо такой участи не перенесу.

— Оскопление — не худшая участь, сын мой. Вот когда ты станешь для него женщиной — это уж гибель настоящая.

И я заплакал. Навзрыд. Горючие слезы полились из глаз, как ручьи. «Конец мне», — сказал себе. И я взмолился:

— Что же мне делать, отец? Где найти скорую смерть? Посоветуй мне.

И садовник сказал:

— Есть одно средство. Наивернейшее, чтобы избежать страшной участи, уготованной тебе стариком-прелюбодеем.

— Скажи мне... Наставь меня... — Я поцеловал руку садовника и пал перед ним на колени.

— Слушай же внимательно, — сказал добрый садовник. — В том господском доме живет одна безобразная похотливая женщина. Она обладает безграничной властью над господином дома. Постарайся понравиться ей. Ублажи ее. И твой старик отстанет от тебя. А дальше — действуй, как знаешь, может, и пустыня раскроет тебе свои объятия.

Я подивился стариковым словам. Как это понимать: безобразная женщина, которой надо понравиться, а дальше — пустыня?

— Сын мой, — прошамкал старик, — ты слишком наивен. По-видимому, слова мои не достигают твоих ушей. Или они слишком сложны для твоего понимания?

— Так и есть! — воскликнул я. — Слишком сложно...

— Ладно, — продолжал старик, — постараюсь быть более понятным для тебя... Если не изменяет мне зрение, ты обладаешь прекрасным мужским достоинством...

— Это как же?.. — начал было я.

— Оголись! — приказал садовник. — Время дорого. Делай, что говорю!

И я оголился перед ним и залился краскою стыда.

— Да, — с пониманием сказал садовник. — Это как раз то, что надо. Ты сам не смыслишь, каким обладаешь богатством... Ты любил когда-нибудь?

— Нет, — признался я.

— Так полюби эту проклятую женщину! Ты понравишься ей. Понял меня? Понял или нет?

Я кивнул.

— Слушай дальше. Внимательно. По той, вон по той аллее часто прохаживаются служанки той старухи. Ты покажи им то, чем обладаешь.

— Как? — смутился я. — Показать? Им?

— Да, — спокойно шамкал садовник. — Сделай вид, что тебе захотелось по малой нужде. И будто не замечаешь их. Пусть глаза их падут на твое мужское достоинство. Оголись как следует... Это путь к спасению. А иначе станешь ты любовником того, кто так опекает тебя.

Я горел от стыда. Мне был противен весь мир. Мне захотелось умереть. Незамедлительно.

Садовник как бы угадал мои мысли:

— Сын мой, это всегда успеется. Сделай то, что я тебе советую. Ибо ты в Медном городе, где нет пощады никому, кто идет поперек господам. А теперь прощай. Запомни: твоя жизнь будет находиться пусть в безобразных, но в надежных руках.

В ту ночь я не спал. Во мне что-то перевернулось. Я отрезал шелковый шнурок, на котором держалась занавеска на окне. Оставалось подыскать крючок. И я уснул с этим шнурком в руках.

## ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ СУДЬБУ

Рассказчик продолжал:

— Халаф все говорил, говорил, и, казалось, не будет конца его горестным воспоминаниям. В Медном городе на первых порах он еще не понимал, что жизнь человеческая — сплошное мучение, что рожден человек для множества испытаний и мук. Однако понемногу глаза у него начали открываться, как у котят, и он увидел мир таким, каков он есть на самом деле, а не в воображении младенцев. Халаф говорил:

— Наверное, был я рожден малодушным, ибо утром, увидя лучи солнца и спелые плоды на блюде, и сладостный шербет в графине — решил пойти на заветную аллею, где могу повстречать служанок той безобразной женщины из господского дома. Ибо, в противном случае, то есть будь я настоящим мужчиной, должен был повеситься на шнурке от оконной занавески...

Словом, дождался я того часа, когда солнце достигло макушки акации, которая росла под моим окном, и спустился по мраморным ступеням к аллее. Она вела в глубь сада. Здесь стояла прохлада, зеленая листва диковинных деревьев склонялась до моих плеч, и я мог дышать одним воздухом с трехпалыми листьями. Шел медленно, не торопясь, не озираясь, как бы углубленный в собственные мысли. Птицы пели у самых моих ушей. Не буду лгать: сердце мое колотилось неистово, я чего-то боялся, словно кошка, предчувствующая землетрясение. Не знаю, почему так волновался. Как убедился позже: был я наивен, а сказать точнее — вовсе глуп. Впрочем, не знаю, кто был бы способен на моем месте совладать с собой — впереди зияла неизвестность, словно темная пещера в скале. Речь шла не только о моей мужской чести, но о самой жизни. И это придавало мне решимости, потому что стоял на краю пропасти.

И тут я увидел двух девиц. Они маячили впереди, а появились они, как видно, из боковой дорожки, пролегавшей меж очаровательных кустов, на которых горели алые розы.

На что только не решится человек, обреченный на выбор: или — или? Поймите меня: речь шла о жизни.

Я сделал вид, что не вижу никого и не понимаю, что творится вокруг. Опустив голову и поглядывая на аллею исподлобья, добрел до перекрестка, где аллея встречалась с боковой дорожкой.

В то самое мгновение, когда почувствовал, что замечен девицами, с трудом преодолевая стыд и позор, сделал вид, что скрываюсь за стволом акации. Сделал это так, что обратил внимание тех, на чью любознательность рассчитывал. Оголился я и застыл.

Девицы остановились, прикрыли лица ладонями так, чтобы все можно было видеть сквозь растопыренные пальчики. Я повернулся к ним боком, чтобы лучше показать то, чем обладаю. Заслышав хихикание, я мигом опустил просторное шелковое одеяние и заторопился к себе.

Придя в свою комнату, свалился на подушки и зарыдал. «Неужели, — спрашивал себя, — надо идти путем позора, чтобы сохранить жизнь и добыть свободу? Неужели свобода не дарована человеку от рождения? Неужели надо вымаливать ее различными позорными способами?»

Напрасно искал ответа. А вскоре ко мне явился некий жирный ублюдок и весьма учтиво попросил меня следовать за собой, намекнув, что ждут меня великие блага.

— Далеко ли идем? — спросил я.

— Два шага, — сказал ублюдок.

Я, разумеется, сослался на своего господина, чьей заботе был обязан своим благополучием и у кого обязан был отпроситься.

— Юноша, — сказал он, сверкнув очами, — выкинь из головы своего господина. Ибо он пылинка по сравнению с тем, кто ждет тебя.

Я только теперь заметил, что вид этого странного посланца не совсем обычный. Лицо у него круглое и гладкое, голос высокий, как у женщин, и пухлый зад. «Скопец», — подумал я, вспомнив один из рассказов садовода про скопцов, живущих в большом господском доме.

У скопца лоснились щеки. Он подобострастно согнулся в пояснице и пухлыми руками приглашал к выходу.

— Что я скажу господину? — спросил я.

— Ты плюнешь ему в рожу, — пропищал скопец.

— Он удавит меня.

— Скорее удавят его. — Скопец улыбался и жирными руками указывал на дверь.

— Я пойду за тобой, добрый незнакомец, — сказал я.

Скопец проскользнул в дверь и покатился по дорожке к княжескому дому, а за ним направился я.

Мы обогнули дом, облицованный мрамором, поднялись на невысокое каменное крыльцо, которое находилось сбоку здания. И перешагнули через высокий порог.

В просторном помещении, стены которого были увиты диковинными растениями, а посредине журчал высокий фонтан, изливающий воду в глубокий бассейн, меня встретили те самые девицы, которых я удивил на заветной аллее.

— Молодой человек, — сказала одна из них весьма учтиво, — сюда, на это ложе.

А другая подала мне сосуд с прохладной жидкостью, которую я выпил, не думая о последствиях. Оказалось, что меня напоили напитком из финиковой пальмы. У меня приятно закружилась голова. А девицы были столь милы, что во мне проснулся неистовый мужчина.

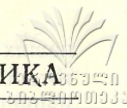
Они раздели меня, и я не сопротивлялся. Они забавлялись мной, как им было угодно. Я любовался их грудями, крепкими, как йеменские груши.

— Пора к госпоже, — проговорила одна из девушек.

И меня, эдак легонько подталкивая, повели в боковую, изрядно затемненную комнату. Когда глаза мои немного привыкли к полумраку, на широком ложе увидел ту, ради которой привели меня сюда.

Сначала мне показалось, что передо мною старик, изрядно ожиревший. Однако груди, которые свешивались, подобно безжизненной плоти в мясной лавке, и пухлые похотливые губы — убедили меня в том, что передо мной существо женского пола.

Продолжение следует



Гиа НОДИА

# Нация и демократия

**В** последнее время мы совершенно по-новому начинаем смотреть на проблемы, связанные с нациями и национальными отношениями. Непривычные, драматические, а иногда и трагические явления, происшедшие за последние два-три года в Казахстане, Якутии, прибалтийских республиках, Армении и Азербайджане, Москве и других частях нашей страны, показали, что и в этой сфере далеко не все в порядке, что сверхоптимистические заявления о полной и окончательной победе духа интернационализма и дружбы народов были еще одной формой «приписок». Причем, как уже много раз говорилось, атмосфера демократии и гласности — отнюдь не причина обострения национальных и националистических чувств: в новой обстановке лишь вышли на поверхность накапливавшиеся в течение долгих лет проблемы, для решения которых как раз необходима демократия. Тот факт, что мы стоим перед действительно серьезными трудностями, официально признан в специальной резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции, в материалах последовавшего за ней июльского Пленума партии. На вопросы национального все больше начинают распространяться «новое мышление» и новые подходы в практической политике.

Постепенно обретающая смелость пресса долгое время избегала признаваемых чересчур щекотливыми вопросов, а когда, как принято говорить, «жизнь взяла свое» и сложности

наших национальных взаимоотношений стали предметом открытого и гласного обсуждения, оказалось, что годы «лакировки» национальной действительности не прошли бесследно. Даже честные попытки разобраться что к чему часто выливаются в достаточно наивные и поверхностные рассуждения. Участники дискуссий впадают в крайности и приводят аргументы, будто нарочно придуманные для эффектных опровержений и усиления противоположной позиции. Постепенно появляется все больше и по-настоящему продуманных интерпретаций национального, но происходит это в процессе борьбы со старыми формами, многие из которых еще предстоит опровергнуть.

Одно из свидетельств недопонимания «внезапно» свалившихся на голову проблем и возникшей отсюда растерянности — гипертрофированное представление о роли интернационального воспитания в их решении. Первыми официальными и полуофициальными реакциями на различные «беспорядки» и «выходки» были фразы типа: «Как показали настоящие события, местные партийные и советские органы ослабили работу по интернациональному воспитанию трудящихся». Но разве у нас мало читается лекций по интернациональному воспитанию, мало проводится «фестивалей дружбы» и «вечеров братства»? Разве мало морализаторских сентенций на тему «давайте жить дружно» читали мы раньше и особенно читаем сейчас в нашей прессе? Но почему КПД всей этой «работы» приближается к нулю? Почему в глазах многих людей, и в том числе отнюдь не нравственно ущербных, само слово «интернационализм» становится чем-то казенным и даже однозным? Легче всего свалить все на то, что сама эта «работа» и сами «мероприятия» проводятся казенно и бездушно, «для галочки». Тем более, что это действительно так. Значит, надо вдохнуть во все это живую душу? Надо, конечно. Но дело не в этом. Работа по «интервоспитанию» (как любят сокращать комсомольские работники) раздражает не потому, что она делается плохо, а потому, что упор на нее воспринимается как бегство от **реальных** проблем национального бытия. Когда мне говорят: «давайте жить дружно», а я и сам бы рад, но мне кажется, что этому что-то мешает, что-то реальное, что-то устроено не так, как надо, или допущена какая-то несправедливость, и эти препятствия можно устранить, то лишние абстрактные разговоры на тему «надо быть выше этого» мне уже не нужны, я воспринимаю их как непонимание существа проблем, как лицемерие или, еще хуже, нежелание их решить. Когда кипение национальных страстей становится фактом **общественного сознания**, надо ис-

катель прежде всего **объективные** причины этого явления. Ибо у законов общественного сознания есть одна очень важная общая черта с законами природы и с законами экономики: они жестоко мстят, когда их игнорируют. В определенных условиях призывы к интернационализму могут иметь даже обратный эффект: «интернациональное воспитание», основанное на показухе и лицемерии, может стать фактором, способствующим разжиганию националистических страстей. К сожалению, это не абстрактное допущение, но реальность нашей жизни.

Особенно страдает доктрина тотальной действенности интернационального воспитания от столкновения с таким положением, когда те или иные идеи, признаваемые «националистическими», оказываются достоянием не «отдельных слоев населения» либо «групп экстремистов», но господствуют в общественном сознании целых народов и, прежде всего, их духовного авангарда — интеллигенции. Как же можно «воспитывать» целые нации? Кто выступит при этом в роли воспитателя? Очевидно, какая-то другая нация или нации. Но разделение наций на воспитателей и воспитуемых явно противоречит принципу интернационализма и ничего кроме раздражения (а значит, опять-таки повышения накала национальных страстей) у объекта воспитания вызвать не может. Если национальный мессианизм, даже при субъективно благородных устремлениях его проповедников, на деле представляет собой наступательную форму национализма и шовинизма, то одна из самых опасных разновидностей такого мессианизма состоит в претензии нации на то, что она в большей мере, чем другие, является носителем интернационального, всемирного сознания; что существуют просто нации (потенциальные «националисты») и сверх-нации (нации-интернационалисты) и вторые, естественно, могут или даже призваны учить первых интернационализму. Ведь интернационализм — высочайшее достижение человеческой культуры, отнюдь не сводящееся к субъективному **желанию** быть интернационалистом. Национальные предрассудки — самые глубокие и трудновыкорчевываемые, субъективизм национального сознания — самый труднопреодолимый из всех субъективизмов. От него часто не могли уберечься самые возвышенные души, ему оставались подвержены всемирные проповедники нравственности и свободы. Поэтому настоящий интернационализм может быть достигнут только очень напряженной работой духа и встречается, к сожалению, весьма редко. Если, конечно, не принимать за интернационализм национальный нигилизм, равнодушные ко всем национальным проблемам — чужим или сво-



им. С другой стороны, любая национальная культура в своих высших проявлениях всечеловечна, без тяги к общечеловеческим ценностям культура просто перестает быть культурой. Поэтому притязание на монопольное владение столь дефицитным продуктом духовной культуры, вытекающая отсюда снисходительная учительская поза будут приняты за крайнюю форму национальной гордыни и ничего, естественно, кроме активного внутреннего противодействия, у «воспитуемых» не вызовут.

Столь суровая критика в адрес представления о всесильности интернационального воспитания не должна заставить думать, что автор этих строк хоть в какой-то мере отрицательно относится к самой идее такого воспитания. Культивирование идей интернационализма является важнейшим, необходимым и во многом недооцененным элементом любого воспитания, особенно когда мы готовим к жизни граждан многонациональной страны. Но, во-первых, само представление о нациях и интернационализме, которое при этом прививается, не должно быть односторонним и упрощенным (об этом речь еще пойдет ниже), и, во-вторых, вообще нельзя переоценивать роль воспитания при решении «взрослых» социальных проблем. А воспитательный крен характерен для нас отнюдь не только в вопросах национальной политики: внесение в чужое сознание готовых, апробированных и утвержденных «правильными» идей, «настройка» сознания из некоего единого непогрешимого идейного центра долгие годы считались самым надежным методом разрешения многих трудностей общественного развития.

Не хочу также создавать у читателя превратного впечатления, будто автор, вооружившись учением о первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания, впал в грех «вульгарного социологизма» и считает, что достаточно принять какие-то правильные политические решения, и все межнациональные трения отпадут сами собой. Не может быть никаких социально-правовых прививок против национализма, шовинизма, фашизма, они коренятся в нравственной неполноценности личности, в ее неспособности усмирить свои темные аффекты и низменные страсти. Духовно развитая личность обязана в любых «объективных» условиях оставаться на высоте, не дать увести себя в болото предрассудков и культивирующих агрессивные инстинкты псевдотеорий. Соответственно, если человек ведет себя недостойно, теряет способность относиться к самому себе с необходимой долей иронии, перестает понимать и уважать национальные чувства и особенности дру-

гих людей и начинает сваливать все свои проблемы на подрывную деятельность «инородцев», это нельзя оправдать никакими внешними обстоятельствами. Воспитание, а точнее — **самовоспитание** духа ничем не заменишь, оно необходимо во все времена и при всех правительствах. Здесь нельзя полагаться только на «здоровый нравственный инстинкт». Поэтому рассуждения, статьи, которые являют собой пример такого самовоспитания и заражают духом истинного интернационализма (например, выступления С. Аверинцева, Н. Эйдельмана, Ч. Айтматова, А. Турсунова и других), могут вызвать у нормальных людей только добрые чувства. Но другое дело, что **доверие** к истинно интернационалистическому умонастроению того или иного деятеля возникает лишь тогда, когда он хорошо видит не только контуры идеального царства интернационального согласия, но и сегодняшние реальные сложности развития наций.

Облегченное понимание национального выражается также в сведении, редукции национальных проблем к чему-то другому, например, к социально-экономической сфере. Когда люди в массовом порядке выдвигают какие-то национальные требования, это явление начинают объяснять (после упомянутых дежурных фраз об «ослаблении интервоспитания») некими общими неполадками в нашей жизни, сформировавшимися в эпоху застоя. Ход мысли примерно такой: люди не могут разобраться в существе трудностей нашего общественного бытия, не понимают, почему не удовлетворяются в должной мере их экономические, социальные, культурные запросы, и сваливают все на ошибки национальной политики. А способствуют такому извращенному пониманию «противники перестройки», бездушные, а то и коррумпированные бюрократы, которые, естественно, никак не заинтересованы в выявлении истинных виновников создавшихся проблем и направляют накопившееся возмущение масс на ложные цели. Соответственно, если мы разъясним массам, в чем на самом деле корень зла, и решим все эти «общие» вопросы, национальное недовольство отпадет само собой. В таком подходе есть, конечно, свое рациональное зерно, социально-экономические проблемы действительно часто получают национальную окраску, и тут не сразу разберешься что к чему. Вполне может быть, что многим людям с нечистой совестью или просто нерадивым работникам, ответственным за понижение жизненного уровня народа, на руку перенос внимания своих соотечественников на национальную сферу, и они будут стараться подогреть разбушевавшиеся страсти. Но сама

возможность такого «переноса» свидетельствует о том, что национальный вопрос обострен и надо заняться им как таковым. Такой «социально-экономический редукционизм» многим кажется реализацией общего принципа марксистской общественной науки: объяснять надстройку через базис. Но мы знаем и то, что чересчур прямолинейное применение этого принципа может вылиться в упрощенчество, в упомянутый «вульгарный социологизм». Пора уже понять, что национальное — феномен самостоятельный, обладающий собственной внутренней сущностью и собственным смыслом. Соответственно, понимать его нужно прежде всего из самого себя и решать национальные проблемы, исходя прежде всего из правильного понимания самих национальных проблем. И дело не только в «самостоятельности», а в том особенно высоком месте в иерархии ценностей, которое люди привыкли отдавать ценностям национального бытия, национальной культуры, ценности Родины. Ведь национальное чувство — не просто привязанность к привычному пейзажу, как думают иные теоретики. Оно связано для человека со своей культурой, своим местом в жизни, с интерпретацией высших нравственных ценностей, с идеей личной ответственности за судьбу своего народа. И такая позиция сама по себе не имеет ничего общего с национальным чванством или пропагандой национальной исключительности, наоборот, если культура национального чувства достаточно высока, если национальное сознание в достаточной мере подверглось очищающей работе рефлексии, высокая оценка «своего» становится основой для уважения к «чужому» и правильного понимания проблем «других». Так вот, высокий ценностный индекс национального выражается прежде всего в том, что люди ставят национальные потребности выше материальных, экономических, выше потребности в комфорте, а иногда даже в социальной справедливости, и, если какие-либо национальные права кажутся им ущемленными, они готовы пойти на многие жертвы для их восстановления. Поэтому такими наивными казались рассуждения многих корреспондентов и «экспертов» в связи с забастовками в Нагорном Карабахе и Армении, когда они объясняли бастующим, к какому большому экономическому урону приводят их действия. Можно признавать требования бастующих совершенно необоснованными и отвергать забастовки как метод решения подобных проблем, но нельзя не понимать, что сама по себе готовность людей понести определенные экономические потери во имя каких-то национальных требований совершенно естественна и, более того, высоко оценивается в нрав-



пишет он, и национально-освободительная борьба тех же самых народов Африки и Индии тоже прогрессивна. «Ситуация двойственна» — таково заключение. Вот насчет этой «двойственности», в принципе могущей оправдать что угодно, никак нельзя согласиться. Да, колониальные захваты способствовали экономическому прогрессу, это объективный факт, и его следует признать. Но решение вопроса, что выше — национальная свобода или экономическое процветание, не терпит двойственности. Это вопрос наших основополагающих ценностей, нашего, если хотите, нравственного выбора. Наполеон тоже представлял более высокий уровень экономического и социального развития, чем Россия того времени, но это не дает нам с Г. Поповым основания стать задним числом его «болельщиками», когда он пошел на Россию. Высокий уровень экономики — это очень полезно, важно, желательно, в том числе и для развития национальной культуры. Право народа на национальную свободу, на родную землю — свято. Известные строки поэта — «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» — справедливы и по отношению к нациям, языкам, культурам.

Холодный объективизм, не всегда подходящий для рассмотрения таких объектов, как нация, национальная культура, национальная память, предстает часто и в виде «историзма». Чтоб не ходить далеко, приведу высказывания из той же беседы Г. Попова с Н. Аджубеем. Он развивает совершенно справедливую мысль, что каждый народ, имеющий право беречь свою историческую память, должен считаться и с памятью других народов, ибо одно и то же историческое событие в оценках разных народов может иметь противоположную эмоциональную окраску. «Битва при Калке была трагедией для Руси эпохи раннего феодализма: в результате было положено начало татаро-монгольскому игу. Но, с другой стороны, битва при Калке была, видимо, событием противоположного свойства для завоевателей: не исключено, что именно благодаря этой победе они сохранили себя в истории». И «такого рода столкновений исторических «памятей» разных народов очень много». Г. Попов совершенно прав в своем главном выводе из этого факта: ни один народ не может претендовать на монопольную правоту в изложении исторических событий, он должен уметь посмотреть на события своей истории и с точки зрения тогдашнего противника. Но следует ли отсюда, что мы должны вообще отказаться от оценочных суждений в истории? Несомненно, завоевание чужих народов и территорий долго считалось совершенно естественным проявлением доблести и служения родине.

Если какой-либо народ меньше занимался этим, то не потому, что был «добрее», а потому, что слабее. Многие «национальные герои», и посейчас почитаемые своими народами, по сегодняшним нашим нравственным критериям были завоевателями, грабителями и насильниками, хотя им самим такие обвинения могли быть непонятны — ведь не убьешь ты, убьют тебя. Здесь действительно есть «двойственность», от которой никуда не уйти. Но, опять-таки, значит ли это, что мы должны совсем отказаться при рассмотрении истории от нравственных критериев, отказаться от оценки исторических событий с точки зрения справедливости? Значит ли, что нам дано выбирать только между монополизмом исторической памяти одного народа, возмнившего себя «избранным», и индифферентным историческим объективизмом, уравнивающим завоевателя и того, кого завоевывают: мол, что поделаешь, такова уж она, история? Признавая значение битвы при Калке для монгольской истории, надо в первую очередь помнить, что монгольские полчища были **завоевателями**, борьба против них была исторической **справедливостью**. С другой стороны, признавая, что во времена Ермака «неграбительских форм колонизации быть не могло» и что он был «первопроходцем, и даже цивилизатором», надо не забывать, что **в первую очередь** он был грабителем и насильником, и вряд ли такая «героическая фигура» может украсить историю любого народа, особенно того, кто сегодня со справедливым гневом обрушивается на Сталина и сталинизм. Безнравственно по крайней мере потомков жертв Ермака заставлять прославлять его как «своего» цивилизатора.

Во многих околоперестроечных спорах, которые идут в нашей печати, вызывают протест не столько те или иные ошибочные точки зрения, сколько ложные альтернативы. Например, в вопросе о Сталине: либо ты ищешь основу всех ужасов и несуразностей сталинской эпохи в личности вождя (или в нем и его «окружении», что в сущности ничего не меняет), либо, если начинаешь искать «истоки» и объективные предпосылки, тебе сразу предъявляют обвинение в желании оправдать Сталина и, следовательно, скрытом сталинизме или пособничестве сталинистам. Похоже и в вопросе о национальном: очень часто нам предлагают выбор между национальным экстремизмом и фундаментализмом с одной стороны и национальным нигилизмом в духе двадцатых годов с другой. Тогда, на волне революционного энтузиазма, когда казалось, что вот-вот грядет мировая революция и пролетарии всех стран, и без того не имеющие родины, окончательно и неразличимо сольются в единую

реку, текущую в океан коммунизма, такая позиция, по крайней мере, была понятна и логична. Идея о слиянии наций, о будущем безнациональном мире всеобщего братства, имеет сама по себе достаточно глубокие культурные и мировоззренческие корни, она тесно связана с определенной тенденцией европейского мышления, зародившейся задолго до возникновения марксизма — к этому мы еще вернемся. Революция виделась как предпоследний шаг на пути осуществления этой, очевидной самой по себе, идеи, достижение без- или наднационального единства стало одной из задач текущей политики. Красноармейцы в перерывах между боями стали учить эсперанто. Во многих воспоминаниях о том времени ностальгически подчеркивается, что вопрос о национальности вообще не стоял, он воспринимался каким-то архаичным пережитком. Это действительно было господствующим мироощущением эпохи. Но уже в это время самые трезвые головы в партии, в первую очередь Ленин, начинали видеть, что нации — это, по крайней мере, серьез и надолго, и так легко с ними не развязаться. А представление о скорейшем и безболезненном объединении пролетариев всех стран считали иллюзией, причем практически весьма вредной. Ещё в 1919 году, на VIII съезде РКП(б), он критиковал Бухарина, выступавшего против принципа самоопределения наций. Бухарин с точки зрения общих положений марксизма рассуждал вполне логично: в результате ужесточения классовой борьбы происходит прогрессивный процесс дифференциации пролетариата и буржуазии, т. е., фактически, распада буржуазных наций. Объединенный пролетариат различных стран идет в атаку на буржуазию. В этих условиях признание права наций на самоопределение фактически означает признание прав буржуазии на эксплуатацию «своего» национального пролетариата. Как может такое быть частью программы пролетарской партии? Этому теоретически безукоризненному рассуждению Ленин противопоставляет чисто практический, житейский скептицизм: «посмотрим еще, как пойдет эта дифференциация» (т. 38, с. 156). Вот в Германии, например, не пошла — а ведь передовая страна! Передовее России, по крайней мере. Скорее, реальность свидетельствует в пользу противоположного: национальные чувства, национальное самосознание все еще достаточно сильны. Особенно обострены они у национальных меньшинств, угнетенных народов бывшей Российской империи. Недоверие, которое питают представители угнетаемых наций к великороссам, сразу не изжить. Отказ в праве наций на самоопределение, требование форсированного объединения трудя-

щихся под флагом социалистических лозунгов и за счет отказа от лозунгов национально-освободительной борьбы будут расценены представителями малых наций как завуалированное предложение большевиками великодержавной имперской политики. Это оттолкнет народные массы от социализма и даст возможность национальным буржуазиям консолидировать их против советской России. Поэтому в национальном вопросе надо идти на максимальные уступки. «Наша программа не должна говорить о самоопределении трудящихся (в противовес самоопределению наций. — Г. Н.), потому что это неверно. Она должна говорить, что есть. Раз нации стоят на разных ступенях пути от средневековья к буржуазной демократии и от буржуазной демократии к пролетарской, то это положение нашей программы (о самоопределении наций. — Г. Н.) абсолютно верно» (там же, с. 161). Благодаря этим уступкам трудящиеся массы угнетенных народов будут больше доверять большевикам, следовательно, охотнее включатся в борьбу против своих правящих классов, в борьбу за социализм и именно таким — как бы окольным, но более верным — путем придут к межнациональному пролетарскому единству. И эту линию надо выдерживать последовательно и до конца: малейшая несправедливость в национальном вопросе недопустима, ибо она неминуемо приводит к недоверию к социалистической идее, уменьшает энергию социального творчества.

Главный урок из этой давней полемики можно на сегодняшнем языке резюмировать так: и в национальном вопросе следует прежде всего считаться с реальностями. Когда реальность вошла в противоречие с теорией — а такое противоречие в описанном случае несомненно, — Ленин встал на сторону реальности. Сегодняшняя реальность, реальность, сформировавшаяся в результате семидесятилетней советской истории, еще более глубоким образом обнаруживает противоречие с теоретическим тезисом, который до самого последнего времени считался необходимой составной частью марксистской теории: тезисом о будущем слиянии наций. Ибо даже если признавать такое слияние желательным, в реальности мы наблюдаем как раз противоположную тенденцию: дело явно идет к повышению национального самосознания, причем даже у тех наций, которым, казалось, до «слияния» оставалось совсем немного. Этот прогноз достаточно энергично и резко отвергают в последнее время многие наши писатели и гуманитарии, но общественоведы, в первую очередь философы, которым сам бог велел говорить об этом, как-то избегают прямой конфронтации и



предпочитают просто избегать неудобной темы. То, что в новой редакции Программы КПСС нет положения о слиянии наций (даже «в отдаленном будущем», как принято было говорить) и оно заменено «единством наций», с одной стороны, обозначает принципиальный поворот в отношении к факту национального многообразия, но, с другой стороны, многое оставляет открытым: ведь «единство» можно толковать по-разному, в том числе и как синоним «слияния». А ведь это положение важно не только как прогноз (тем более относящийся к «отдаленному будущему», наступление которого «не надо форсировать»), но и как основа нашего сегодняшнего принципиального отношения к феномену нации как таковому: тезис о слиянии наций означает прежде всего признание ценностной второстепенности национального и его, если можно так выразиться, онтологической слабости. В какую бы историческую даль ни отодвигалось исчезновение нации как формы социально-духовного бытия, все равно она уже сегодня приобретает статус **перезжитка**, пусть самого живучего, пусть требующего по отношению к себе некоторой деликатности. Оговорки насчет «отдаленности» и всего, что с ней связано, имеют значение для политика-практика, но не для философа. Не удивительно, что подавляющее большинство наших профессиональных теоретиков по национальному вопросу писало в основном о мерах по поощрению межнациональных браков (которые априорно объявлялись более «прогрессивными», чем однонациональные) и желательности переселения народов куда-нибудь подальше от их исторических мест обитания (на научном жаргоне это называется «формирование позитивных миграционных настроений»): таким образом все поскорее смешаются, и надоевшая проблема наций будет решена посредством их упразднения. Самая большая терпимость в отношении к нациям может в таком случае выразиться в том, что не надо мешать им спокойно отмереть. А мешают отдельные несознательные граждане и агенты ЦРУ — им и следует противодействовать.

«Несознательные граждане», не умеющие разобраться в своих национальных чувствах, у нас действительно есть, и иногда они основательно мутят воду. И западная пропаганда не прочь сыграть на наших национальных проблемах. Но в конечном счете развитию национальных **предрассудков** и шовинистических пережестов более всего способствовали именно подобные взгляды, оставлявшие законные патриотические чувства и естественную тревогу по поводу тех или иных трудностей в национальном развитии отдельных народов вне сферы рацио-

нального обсуждения. Благодатную почву для деятельности экстремистов и демагогов создает в первую очередь именно отсутствие честной и спокойной рефлексии по поводу национальных проблем. Когда рассудок молчит, остаются одни предрассудки.

Сегодня национальный нигилизм в чистом виде, кажется, надолго выходит из моды ввиду явного противоречия факту, о котором мы уже говорили: народы сливаться никак не собираются. Но одно дело — признавать факты, другое — определять свою позицию к ним. Утверждается сравнительно новый для нас, но имеющий международное хождение вариант ложной альтернативы: альтернатива между национальным и демократическим («перестроечным») сознаниями. Западное либеральное мышление, в XIX веке весьма тесно связанное с идеей родины, нации, национального государства, в XX веке, особенно встревоженное опытом фашизма, относится к национальной идее со страхом и скептицизмом. Расхожим местом стало утверждение о том, что национальное сознание антидемократично по своей сути и само существование национальных государств представляет собой одно из главных препятствий на пути дальнейшего развития демократии. Многие наши «западники» достаточно некритично переносят эту антитезу на свои условия, тем более что и у нас национальная идея очень часто проявляет себя в виде «почвеннических», действительно антидемократических умонастроений. Я горячий сторонник разумного заимствования любого опыта, в том числе и теоретического, но в данном случае нельзя упускать из виду, что западные либеральные теоретики, давно живущие в национальных государствах, просто не знают и не понимают многих проблем, которые существуют в нашей многонациональной стране и отсутствие которых у себя они считают само собой разумеющимся. Национальное сознание вообще характеризуется свойством своеобразной «реактивности»: оно активизируется при встрече с внешним «раздражителем» и дремлет, если таковой долго не появляется. В этом дремлющем состоянии его можно принять за отмирающее, но первая же серьезная перемена в национальной среде, первый же (даже ложный) сигнал о каком-то роде национального неблагополучия отрезвляет от таких иллюзий<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Интересно в этой связи заключение эстонских социологов, сделанное на основании наблюдений нашей национальной действительности: «Исследования подтвердили, что, в отличие от эстонцев, представители других живущих в республике нацио-

То, что национальная идея очень часто в истории была связана и с фундаментализмом (мифологема «земли и крови»), и с мессианством (мифологема «избранного народа»), и в крайних проявлениях — с шовинизмом и фашизмом, — это несомненно. Об агрессивной антидемократичности этих тенденций распространяться нет нужды. В мононациональных странах национальная идея, отождествляясь с идеей государственности, часто оказывается союзницей правителей и используется ими под предлогом «единства нации» для консолидации режима, консервативных сил, для ограничения или подавления индивидуальной свободы, служит оправданием различных антидемократических действий. Но национальное сознание, кроме своих наступательных, экспансионистских или репрессивных проявлений, имеет и защитные. И в этой своей функции оно прямо и непосредственно связано с демократическим. Истинный демократ, признающий священными права личности, должен признавать таковыми и права нации. Нация — тоже личность. Или — возможно, кого-то не устраивает теория нации, как личности — право удовлетворения своих национальных потребностей требует к себе не меньшего уважения, чем все другие права личности. К этим правам, например, относится право жить на своей национальной территории, получать образование и отправлять все свои гражданские функции на родном языке. Сюда же относится и право (хотя такое утверждение может показаться парадоксальным) не знать других языков, кроме родного. Конечно, человек, не знающий других языков, обделает себя. Но у каждого взрослого человека должно быть право обделать себя по своему усмотрению. Поскольку человек — существо не только биологическое и социальное, но и духовное, имеющее еще и культурные потребности, то отсутствие реальных условий для развития национальной культуры в конечном счете оборачивается нарушением **личных** прав каждого из лю-

нальностей не считают национальный вопрос и проблемы развития национальной культуры заслуживающими первостепенного внимания. Клара Халлик объясняет это тем, что у русских отсутствует опыт ущемления собственных интересов. Поэтому они не придают этим вопросам такого значения, как малые народы. Русские в этом плане более открытые. Но в инонациональной среде это качество может превратиться в оскорбительную бесцеремонность» (Э. Севисаар. О национальных отношениях в Эстонии: 1970—1980-е годы. Радуга, 1987, № 11, с. 50).

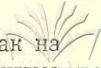
дей, относящих себя к данной культуре. Демократическое движение без признания национальных прав неполно и непоследовательно. Но, что особенно важно, такое узкое понимание демократического, оставляя национальные чувства вне сферы демократической культуры, дает им погрязнуть в болоте национального фетишизма, взаимной подозрительности и агрессивности. Национальное сознание надо не принижать как второстепенное, а вносить в него демократическую культуру. Для этого же необходимо, чтобы и демократическое сознание стало национальным.

Представление о внутренней антитетичности демократического и национального выражается и в утверждениях «тактического» характера: сейчас, в эпоху перестройки, т. е. революционного процесса демократизации общественных институтов, главная задача — консолидировать все прогрессивные силы общества для борьбы с консервативными тенденциями, с наследием эпох культа личности и застоя, за утверждение демократических основ общественной жизни. Силы, противостоящие перестройке, еще очень мощны, отдельные достижения, хоть они и несомненны, далеко не обеспечивают окончательной победы. Вопрос стоит ребром: «Кто кого», и любое отвлечение внимания от этого центрального вопроса — на руку противникам перестройки. Поэтому честные и граждански активные люди должны сейчас, хотя бы на время, отказаться от всего второстепенного, от личных и национальных амбиций, чтобы отдать все силы поддержке перестройки. Ибо национальное — разъединяет, а перестройка требует единства.

Тут все выглядит правильным. Судьба перестройки действительно коренным образом зависит от правильного определения того, что сейчас — главное, а что — второстепенное. Слово «амбиция» вообще и в паре со словом «национальное» в особенности (именно это словосочетание именно в этой связи употребил один из почитаемых мною активных перестроечных публицистов) вызывает, естественно, отрицательную реакцию. Но, тем не менее, если не поддаваться магии слов, нельзя не заметить, что за этим рассуждением-призывом кроется та же самая принципиальная ошибка: национальное выводится за пределы демократического, — или, в лучшем случае, оттесняется на самую его обочину. Получается, что демократическая перестройка общества возможна без столь же решительной, как и в других сферах общественной жизни, демократической перестройки национальных отношений (именно реальных, правовых и экономических отношений, а не просто проведения очередной

кампании по «интернациональному воспитанию трудящихся»). И это ошибка не просто теоретическая, но самая что ни на есть практическая, и, если употребить модное слово, она <sup>может</sup> стать судьбоносной для перестройки. Марксизм — учение, которое, по общему признанию, однозначно утверждает примат социального над национальным. Но как раз одному из его классиков — Фридриху Энгельсу — принадлежат весьма трезвые и поучительные наблюдения на этот счет: «Пока жизнеспособный народ скован чужеземным захватчиком, он по необходимости направляет все свои силы, все свои стремления, всю свою энергию против внешнего врага; и пока его внутренняя жизнь остается таким образом парализованной, он не в состоянии бороться за социальное освобождение» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 18, с. 555); или в другом месте: «До тех пор, пока отсутствует национальная независимость, большой народ исторически не в состоянии даже обсуждать сколько-нибудь серьезно какие-либо внутренние вопросы» (т. 35, с. 220). Конечно, эти высказывания непосредственным образом нас касаться не могут: у нас нет никаких чужеземных захватчиков, и вопрос о национальной независимости принципиально решен внесением в Советскую Конституцию статьи о самоопределении вплоть до выделения. Но приведенное рассуждение Энгельса подводит нас к принятию более общей истины: национальный вопрос действительно второстепенен только в том случае, если все принципиальные проблемы в межнациональных отношениях нашли правильное решение. Если же перед народом стоят какие-то существенные проблемы национального развития, если ему кажется, что его национальные права в какой-то мере ущемлены, что его бытию в качестве нации что-то угрожает, то в соответствующей мере ослабляется его способность к социальному творчеству. Национальное недовольство как бы загораживает горизонт социального, социальные проблемы просто перестают быть видны, или они видны лишь в свете национального. Это — **объективная** закономерность, не зависящая от того, как мы субъективно относимся к национальным чувствам и представлениям. Мы не можем ее изменить, мы можем и должны лишь **считаться** с ней, т. е. полностью принимать ее во внимание, если хотим успеха своим социальным инициативам.

С этим связана такая важная проблема сегодняшней нашей политики, как «вера народа в перестройку» или недостаток такой веры. Обычно ее в первую очередь связывают с изобилием на прилавках магазинов. Это трудно оспорить. Но дело не только в этом. И среди интеллигенции, живущей не колба-



сой единой, многие смотрят на перестройку и гласность как на временную кампанию, которая рано или поздно неминуемо должна стихнуть. Этому много причин — и основанное на многолетнем опыте недоверие к инициативам «сверху», и духовная лень самих людей, не желающих брать на себя гражданскую ответственность в борьбе за перемены. Аргументом в пользу скептиков остается и то, что гласность, хоть она постепенно и расширяется, вторгается во все новые запрещенные доселе зоны, тем не менее все еще достаточно ограничена: это воспринимается как свидетельство того, что она «не настоящая», что до самого верха ее никогда не допустят. На первых порах гласность практически совершенно не касалась также и сферы национальных проблем, редкие публикации на эту тему были выдержаны в старом догматическом духе. Не знаю, как в других республиках, но могу сказать о Грузии. Здесь в этот период господствующее умонастроение было таким: перестройка, это, может, и интересно, но это происходит в Москве и нас на самом деле не касается. Участие в перестройке выражалось, в основном, в интенсивном чтении «Огонька», «Московских новостей» и других известных газет и журналов. Отдельные интеллигенты стыдили друг друга за пассивность, но дела это не меняло. Реальностью общественной жизни республики перестройка стала лишь после того, как выяснилось, что гласность не закрыта и для вопросов национального бытия. И это стимулировало активное участие общества в рассмотрении не только специфически национальных, но и социальных, экологических и других проблем. Перестройка не имеет шансов стать всенародной, т. е. делом всех советских народов, если она не станет и перестройкой межнациональных отношений.

Это все хорошо, скажут многие. Но где же интернационализм? Не казенный, не показушный, а настоящий? Неужели мы, вместо того, чтобы искать общие цели, общие ценности, начнем предъявлять друг другу взаимные претензии? Ведь если мы вступим на этот путь, конца ему уже не будет, и вряд ли мы сможем когда-нибудь обо всем договориться. Да, объективные закономерности общественного сознания существуют, и от них никуда не деться. Но ведь общественное сознание само по себе бывает косным, консервативным, оно часто пребывает в плену фетишей и предрассудков. Есть же еще какая-то духовная элита общества (в самом высоком, не снобистском смысле этого слова), или — скажем на другом языке — передовая общественная мысль, которая руководствуется или старается руководствоваться в своих помыслах и действиях выс-

шими всечеловеческими ценностями. Ее позиция может быть отлична от господствующих умонастроений масс и, более того, в какой-то степени должна быть отлична от них. Она пытается воздействовать на остальных членов общества, по возможности приобщить их к исповедуемым ею высшим ценностям. Может быть, когда дело касается национальных проблем, миссия духовной элиты общества как раз в том и состоит, чтобы противопоставлять узости национальных интересов интернациональное, всечеловеческое сознание?

Интернационализм, способность выйти за рамки своих чисто национальных интересов, без сомнения, принадлежит к числу высших ценностей человеческого духа. Умение встать выше национального эгоизма столь же необходимо для нормальных межнациональных отношений, как преодоление обычного человеческого эгоизма — для межличностных. Но интернационализм можно понимать по-разному, и представляет он проблему не только практическую, но и теоретическую. Для понимания его сути отнюдь не достаточно просто перевести на родной язык латинское слово «интернационализм». Понимание интернационализма зависит от понимания национального и естественным образом меняется вместе с изменением последнего. Если мы будем смотреть на нации как на пережиток, подлежащий окончательному искоренению или отмиранию — не сегодня, не завтра, так послезавтра уж точно, — то ответ на вопрос «Что такое интернационализм?» будет одним. Если же на такую перспективу не настраиваться, то и интернационализм придется понимать совсем по-другому. Отношение же к национальному, в свою очередь, зависит от общей философской позиции, от общего понимания бытия. Как я уже писал в начале статьи, представление о множественности наций как о преходящей исторической форме человеческого общежития, которую сменит высшая сверхнациональная идентичность, имеет своей предпосылкой достаточно общую тенденцию европейского мышления. Эту тенденцию можно определить как «монологизм», и свое наиболее полное выражение она нашла в философии Гегеля. В ее основе лежит представление о суверенном и самодостаточном сознании, в принципе способном располагать в качестве своей безраздельной собственности абсолютной всечеловеческой истиной. А раз возможно такое сознание, значит, возможна и абсолютная культура, т. е. культура, способная воплотить высшие духовные ценности в единую, однородную систему. Согласно этой теории, до сих пор различные культуры лишь несовершенным образом воплощали отдельные сторо-

ны абсолютного, но смысл истории состоит в том, чтобы прийти в конечном счете к абсолютной культуре. На этом конечном этапе истории нужда во множественности культур просто отпадает — раз существует одна абсолютная культура и все вечные ценности духа нашли в ней полное воплощение. А вместе с множественностью культур отпадает и множественность наций; она исчерпала себя как прогрессивная функция истории. Думаю, не надо долго объяснять, какое понимание интернационализма вытекает из подобного понимания истории и наций. Интернационализм — это умение, живя в мире национальных культур, самому встать на позицию абсолютной культуры, быть представителем и проповедником этой культуры и в своих действиях руководствоваться целью — расчистить дорогу абсолютной культуре, т. е. бороться со всеми проявлениями национального (понимаемого как «узость»), стремиться к стиранию национальных различий и формированию единой физиономии человечества. Терпимость к национальным представлениям людей может при этом диктоваться лишь тактическими, но не стратегическими соображениями.

Правда, у самого Гегеля учения о слиянии наций мы не найдем. Но у него есть другое — философское обоснование теории национального мессианства, которая выполняет ту же функцию, что и теория о слиянии наций. Согласно Гегелю, на каждом витке истории духовную и историческую (для Гегеля это одно и то же) инициативу берет на себя какая-то одна нация, именно она воплощает и представляет на данном этапе развития достигнутый уровень развития абсолютного духа. Нация, исчерпавшая свою историческую миссию, может продолжить физическое существование (точнее — прозябание), но духовно она мертва и способность к творчеству утратила. Эта закономерность остается в силе до самого конца. Полное воплощение абсолютного духа, которое мы назвали «абсолютной культурой», происходит не в результате слияния наций, а на основе опять-таки одной определенной культуры. Совершенно не удивительно, что волей немца Гегеля эту ношу взвалила на себя родная ему германская культура. Но я не хочу сказать, что принципиальный выбор между двумя возможными предпосылками создания абсолютной культуры — теорией слияния наций и национальным мессианством — определил патристические чувства самого Гегеля. Дело в том, что слияния наций никогда в истории не происходило, и очень трудно практически представить себе, как это произойдет. Но происходило другое — ассимиляция, поглощение большими и сильными этно-



сами малых и слабых (сам Гегель к этому прямо не призывает, но положительная оценка подобной ассимиляции вполне соотнобразуется с его теорией — чем зря прозябать, не лучше ли влиться в абсолютную культуру?). И такое вполне можно представить в будущем. Так что тут для нас интересен не ход мыслей одного философа, но урок гораздо более общего свойства. Идея слияния наций была благородной мечтой многих поколений людей, действительно поднявшихся (или искренне желавших подняться) над своими национальными предрассудками. Им казалось, что таким образом будет преодолено одно из главных препятствий, мешающих единению людей. Но реально идея слияния может обернуться лишь практической ассимиляцией со стороны этноса, почувствовавшего в себе высшее духовное призвание. И в этом случае интернационализм может оказаться скрытой формой национального мессианства, в конечном счете — ассимиляционизма.

Существенно меняется понимание национального, если принять **диалогическую** концепцию культуры. Эта концепция, признавая принципиальное, предельное единство высших ценностей и ориентиров культуры, отрицает возможность существования единственного и общеобязательного образца воплощения этих ценностей. Любая национальная культура ориентирована на всечеловеческие, вечные ценности, но каждая из них интерпретирует их на свой лад и по-своему воплощает их в плоть культуры. Каждую из национальных культур можно представить себе как дорогу или тропинку к абсолютному, не совпадающую (хоть и перекрещивающуюся) с другими дорогами и тропинками. Мы не имеем никаких оснований, чтобы отдать какому-нибудь из путей принципиальную привилегию (на чем основывается любое «мессианство»). Действительные достижения различных национальных культур неравноценны, от этого никуда не денешься, но это говорит не об их **заведомом** неравенстве, а о том, что им в разной степени удалось к настоящему времени себя осуществить. Что же будет в будущем, никто не знает. Национальные культуры не подготавливают одна другую и не подчиняются одна другой, но взаимно дополняют друг друга. Одна не заменит другую и каждая ценна именно своей индивидуальностью (не забывая, что индивидуальность состоит в особенном отношении к абсолютному). **Единство** при этом достигается не через стирание различий, но через **диалог**, для которого характерно сохранение собственной индивидуальности и уважение партнера в его самобытности и неповторимости. Доблесть интернационализма заключается, при та-

ком понимании, именно в умении вести диалог, т. е. во взаимном уважении, терпимости, в отсутствии претензии на монопольное обладание истиной и умение вникнуть в проблемы другого именно как другого.

Такое понимание интернационализма было напрямую раскритиковано Генрихом Боровиком в его выступлении на XIX Всесоюзной партийной конференции, и мне трудно пройти мимо его аргументов. «Уважение народов друг к другу, — заявил он, — это только самая первая, самая низкая ступенька цивилизованных отношений». Нам же этого мало. Более того — объявление взаимного уважения народов программ-максимум чревато развитием процесса разобщения наций. То, что русские пекутся о сохранности Ясной Поляны, а армяне — качкаров, тоже ведет к взаимной изоляции, поэтому лучше на восстановление памятников культуры бросать интернациональные бригады строителей. В чем же состоит программа-максимум Г. Боровика? В «слиянии интересов», в «братстве и готовности защищать друг друга в любой беде». Для чего нужно развивать «советское национальное самосознание»: «Мы говорим о росте национального самосознания. Это прекрасно. Только не за счет советского национального самосознания. Самосознания граждан Советского Союза и советского патриотизма».

Противопоставление национального самосознания народов СССР и советского патриотизма, представление, что одно должно развиваться за счет другого (Г. Боровик сам вроде не говорит, но практически у него получается именно так), принадлежат к числу прискорбных проявлений той самой «ложной альтернативы», о которой мы говорили выше. Например, обозреватель «Комсомольской правды» Е. Лосото, приобретшая известность благодаря большим критическим статьям о «Памяти», в которых было много и справедливого, заканчивает одно из своих выступлений призывом следовать примеру человека, который, будучи за границей, вписал в графу «национальность» какой-то таможенной анкеты «советико» и с гордостью пишет об этом в газету. Дело, конечно, не в анкете (в западных анкетах графа «национальность» обычно имеет в виду государственную, а не этническую принадлежность), но и здесь опять-таки главное — противопоставление законного чувства гордости по поводу советского гражданства сознанию своей национально-этнической принадлежности. Но ведь само выражение «советское национальное самосознание» абсурдно, ибо нет никакой «советской нации». Отождествление «национального» и «государственного» естественно в западных национальных госу-

дарствах, но не в нашей стране, которая представляет собой **Федерацию** национальных государственных образований. Советское самосознание и советский патриотизм могут быть общегосударственными и, вместе с тем, **интернациональными**. А каким образом представляет себе Г. Боровик **реальную** возможность развития советского интернационального самосознания, как не через углубление взаимного **уважения** народов нашей страны? Очень заманчиво объявлять такое взаимоуважение «только» «самой низкой ступенькой» цивилизованных отношений. Такие широкие жесты может делать человек, у которого «всемирное братство людей» уже лежит в кармане. Но где встречал много поездивший по свету Г. Боровик народы, которые хотя бы на этой «самой низкой ступеньке» уже твердо стоят? На межгосударственном уровне мы пока видим в основном «уважение» к ядерным и прочим арсеналам друг друга. «Новое мышление», цель которого — достижение взаимного уважения, **не** основанного на взаимном страхе, делает лишь самые первые шаги. Что же касается наших внутрисююзных межнациональных отношений, то и здесь поневоле приходится освобождаться от иллюзий — именно взаимного уважения, понимания или просто знания проблем друг друга нам часто не хватает. Иначе сейчас не пришлось бы заново ставить проблемы, казавшиеся раз и навсегда решенными. Так что дай нам Бог обосноваться на этой «низшей ступеньке», а там уж мы с Г. Боровиком начнем искать дальнейшие пути вверх. И не нужно с презрением коситься на людей, обеспокоенных судьбами памятников своей культуры. Мы, кажется, отказались уже от идеи обобществления детей и разрешили матери любить своего ребенка больше, чем чужого — что не мешает ей в случае нужды и ему протянуть руку помощи. Так разрешим и русским печься о Ясной Поляне больше, чем о хачкарах, а армянам, наоборот, больше думать об этих последних. Это нормально, и не надо быть лицемерами. И только через культивирование, очищение от наносов и скверны этих нормальных человеческих чувств, а не через неразлично унылое «слияние интересов» (новый эвфемизм для «слияния наций») можно прийти к действительному интернациональному братству, выражающемуся, помимо чувства взаимного уважения, и в совместном делании общих дел. Их у нас хватает. И тут совершенно ни при чем люди, упоминаемые Г. Боровиком, которые отлучают Пушкина от русской культуры за его не вполне русское происхождение — в таких случаях мы имеем дело не с избытком патриотизма, а с элементарной глупостью и нераз-

работанностью национального самосознания, результатом чего и является обычно засилие мифологемы «национальной кривизны».

И еще один принципиальный момент, мимо которого, мне кажется, нельзя проходить. Когда Г. Боровик говорит, что взаимное уважение народов — это слишком мало для нас (с призывом к нему, мол, даже «Михаил Сергеевич Горбачев обращается к Рональду Рейгану — президенту страны, чьи ядерные ракеты нацелены в нашу сторону»), а советским нациям нужно нечто большее, то в качестве главного примера этого «большого» он приводит единство советского народа. Про войну вообще вспоминают в таких случаях в первую очередь. Это неудивительно: память о ней — свята для всех нас, и поэтому такой аргумент выглядит особенно убедительно. Но именно потому, что эта память свята, ее не нужно излишне эксплуатировать. Единство в борьбе с фашизмом, как оно ни дорого нам, было все же единством перед лицом **внешнего врага** — а это не самый высокий вид единства. Если уж вспоминать недавнюю историю диалога между М. Горбачевым и Р. Рейганом, то уместно было бы вспомнить высказывание американского президента, сделанное на раннем этапе этих отношений: вот когда у нас появится общий враг, например, какие-нибудь инопланетяне, тогда и дела наших переговоров пойдут на лад. На что руководитель нашего государства резонно ответил, что ждать инопланетян — не дело для серьезных политиков, и надо попытаться прийти к согласию до их вмешательства. Рейган, насколько я помню, больше своего аргумента не повторял, но и нам не следует слишком назойливо напоминать про встречу на Эльбе. Она хороша как символ, но не как аргумент: совместная победа над фашистской Германией не помешала через несколько лет разразиться холодной войне. Единство перед лицом внешнего врага само нередко бывает внешним и, соответственно, непрочным, если у него нет достаточно глубоких внутренних оснований (как оказываются непрочными конъюнктурные военные союзы). Это — воистину «низшая ступень» взаимопонимания как между людьми, так и между народами. Поэтому, когда, обосновывая единство советского народа, постоянно обращаются к памяти о войне, это, при всем благородстве устремлений, неверный путь. Если мы хотим достичь настоящего единства, нам не надо постоянно вспоминать прошлых общих врагов или искать нынешних. Здесь нам действительно нужно большее.

А как быть с тем, что «нет ни эллина, ни иудея»? Это что — «монологизм» или «диалогизм»? Тут вступает новая

тема. Идея слияния наций, пусть «в отдаленном будущем» — идея чисто утопическая. А классический признак утопического мышления — перенос рая с небес на землю, попытка создать на грешной земле то, что можно представить себе лишь в потустороннем мире. Ни эллина, ни иудея нет в Царстве Божьем. Или — если сделать перевод с религиозного языка на язык светской культуры — их нет в высшем духовном мире вечных ценностей. Но здесь, у нас, в живой социальной действительности они очень даже есть, и попытка их посясторонней «отмены» есть не что иное, как еще одна попытка построения Вавилонской башни, которая не удалась, кстати, как раз из-за введенной Всевышним множественности языков, или, что в данном случае то же самое, наций. На этой земле нам пристало не мечтать о будущем наднациональном братстве, а сегодня любить ближнего своего, вне зависимости от того, эллин он или иудей. Это не так уж легко, потому что иудей может не вполне соответствовать тем представлениям, которые эллин всосал с молоком своей эллинской матери, а поведение эллина не всегда будет вписываться в иудейские понятия — а ведь обоим свои представления кажутся универсально истинными. Так вот, «высший пилотаж» интернационалистской этики состоит в том, что, — именно поскольку «в высшем смысле» нет ни эллина, ни иудея, — надо уметь, оценивая эллина, встать на позицию эллина, а оценивая иудея, представить себя на месте иудея. Именно в этом — преодоление национальной узости, а отнюдь не в том, чтобы «встать выше» их обоих и укорять эллина в том, что он слишком эллин, а иудея — что он слишком замкнулся в своем иудействе. Ибо каждый из нас — либо иудей, либо эллин, либо кто-то еще (даже если для нас это не очень важно), а Царство Божие (оно же — «Высшие Ценности») одно для всех, и никто из нас благодаря своему эллинству или иудейству не может быть ни ближе к нему, ни дальше. Претензия на позицию наднационального универсализма в конечном счете приводит лишь к обожествлению собственных национальных предрассудков.

Пренебрегать национальным — это вообще-то, раз уж мы решили воспользоваться языком христианства — большое **искушение**. Существование наций — как и все «человеческое, слишком человеческое» — очень усложняет нашу жизнь. А человек стремится к упрощению. Вот как, например, много всяких сложностей от любви — не общей, абстрактной, а той самой, любви к единственному человеку, иррациональной и неизвестно откуда сваливающейся. Насколько проще было бы

жить по хорошо продуманному и высокоморальному расчету. Только сразу появились бы странные люди с вопросами: «А зачем жить-то?» То же самое можно было бы сказать и о нациях. Без них жить было бы проще, что и говорить. Только очень скучно.

Как романтическая любовь, так и национальное чувство отличают людей от роботов. Но между ними есть одна большая разница. Любовь — дело личное, а массовые неполадки в национальных ощущениях сразу становятся проблемой политики. Поэтому трудно рассматривать проблему национального на уровне чистой духовности, не касаясь политических проблем национальных отношений. Та или иная философия национального находит выход в политических действиях. Представление о нации как о чем-то второстепенном и отмирающем ведет к запущению в текущей национальной политике, что мы сегодня во многом и наблюдаем. Ленин в принципе не отрицал перспективы слияния наций. Исходя из этого он считал, что для марксиста интересы национального самоопределения второстепенны по сравнению с интересами социализма. Но это не мешало ему очень хорошо понимать огромное значение национального вопроса в практической политике. Его концепция решения этого вопроса, как я попытался показать в начале этой статьи, существенно иная: путь к интернациональному единству лежит не через пренебрежение правами и чувствами наций, а наоборот, через уважение к ним и максимальное осуществление. Именно на этих принципах сформировался Советский Союз как федеративное государство, т. е. как свободное, добровольное, открытое (т. е. позволяющее как вступление новых членов, так и выход старых), равноправное объединение национальных государственных образований. Это было и остается единственно правильным решением проблемы. Но отход от первоначальных принципов в сталинскую эпоху произошел не только в сфере экономики или партийной демократии. Существенным деформациям подверглась и национальная политика, в частности, федеративные принципы организации советского государства. Когда пишут о том, насколько отошел Сталин от ленинской политической линии и извратил ее сущность, редко вспоминают, что при жизни Ленина наиболее резкое его размежевание со Сталиным произошло как раз по национальному вопросу. Известно, что Сталин, бывший наркомом по делам национальностей и считавшийся в партии экспертом по национальным вопросам, в вопросе объединения советских республик выдвигал концепцию автономизации, согласно кото-

рой республики входили в РСФСР на правах автономных, и, естественно, им отводились существенно меньшие права, чем союзным республикам в ленинском проекте федеративного устройства СССР. В споре с Лениным Сталину пришлось признать свою неправоту и принять ленинский проект. Но, поскольку осуществление этого проекта происходило уже без участия Ленина, то Сталин, естественно, постарался, чтобы реальность федеративного советского государства максимально приблизилась к отвергнутой на словах «автономизации». Известны и принципиальные разногласия между Лениным и Сталиным, проявившиеся в так называемом «грузинском инциденте». И здесь Ленин занимал более «прогрузинскую» позицию, чем выходцы из Грузии — Орджоникидзе и бывший Джугашвили. Именно к этому времени относится известное высказывание Ленина: «...известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения» (т. 45, с. 358). Непосредственный адресат этого замечания — Дзержинский, но Сталина оно касалось в никак не меньшей мере. Под «истинно русским настроением» Ленин подразумевал, конечно, не заботу об истинных интересах русского народа, а наследие великорусского имперского шовинизма.

Личность Сталина — вообще большой вопрос для Грузии. Сейчас у нас много спорят о том, можно ли вообще его считать грузином: человека, который, не слишком хорошо владея русским языком, называл его родным, в графе «национальность» писал: «русский (по происхождению грузин)», а в своей политической деятельности вдохновлялся примерами Ивана Грозного и Петра Первого. С другой стороны, он до конца жизни любил грузинское вино, грузинскую кухню и грузинские народные песни. Мне кажется, что когда единственной целью жизни становится достижение абсолютной личной власти, для всех других человеческих чувств, в том числе национальных, места уже, как правило, не остается. Они только мешают. Но вопрос о чувствах Сталина можно оставить его биографам, к нашей теме он прямого отношения не имеет. Дело не в чувствах, а в том, что созданная им сверхцентрализованная Административная Система в принципе не допускала никаких проявлений «местной» самостоятельности. Национальное, как и все человеческое (кроме «воли к власти» и низменных агрессивных инстинктов) было ей чуждо. Бюрократическому аппарату нужен «внизу» совершенно однородный материал, лишенный всяких признаков индивидуальности, личной либо национальной. Он и стал насаждать податливую серую безличность, спекулируя на

лозунгах интернационализма; чувство патриотизма приветствовалось лишь как верность текущим общегосударственным интересам, заранее отождествленным с интересами аппарата. Бюрократическую подоплеку программы «автономизации» с самого начала увидел Ленин. «Говорят, что требовалось единство аппарата, — писал он, имея в виду сторонников «автономизации». — Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого русского аппарата, который... заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром?» (т. 45, с. 357). Прекрасно предвидел он и то, что получится из фактического осуществления подобной программы: «При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, останется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ» (там же). Грузинский акцент у «истинно русского человека» ничего не меняет: система требовала циничного равнодушия ко всяким национальным чувствам, грузинским или русским, кроме великодержавно-имперских. Был создан тип национального бюрократа, который, больше всего на свете боясь упрека в «местном национализме» (а этот ярлык стали прикреплять к любому проявлению местной самостоятельности или заботы о национальных интересах), стал упреждать исходящие из центра сигналы и по собственной инициативе выполнять функцию «подлеца и насильника» как по отношению к личностям, так и по отношению к национальным культурам (об этом говорила М. Ганина на одном из пленумов Союза писателей СССР). Этот тип намного пережил самого Иосифа Виссарионовича — тем более, что хрущевская «оттепель» практически не коснулась национальной сферы, а в какой-то степени привела и к ухудшению. Писатель Айдар Халим рассказал в журнале «Дружба народов», как блистательно удалась в 60—70-е годы башкирским национальным бюрократам, естественно, не без сочувствия из центра, операция по выкорчевыванию башкирского и татарского языков из школ, в результате которой в новом поколении на них уже почти некому говорить. Операция прошла бескровно, но это — типичный образец незаконных репрессий в сфере культуры, которые по своей безнравственности вполне сравнимы с физическими репрессиями против людей в сталинские годы. Только как быть в таких случаях с реабилитацией?

Конечно, эта тенденция была не единственной в националь-



ной политике. Даже урезанное осуществление ленинских принципов решения национального вопроса принесло немалые плоды. Большое прогрессивное значение имело построение национальных государственных структур в бывших окраинах царской России. Национальные культуры стали предметом государственной заботы. Экономическая политика была направлена на выравнивание хозяйственного потенциала ранее отсталых регионов с более развитыми областями. Наши достижения в этой области известны, наше государство имеет все основания гордиться ими, и было бы глупо и несправедливо их отрицать либо принижать. Естественным результатом этих достижений является и повышение уровня национального самосознания советских народов. Если бы не эти достижения, то не столь высок был бы и уровень наших потребностей по части национальной справедливости. Но тенденция бюрократического, аппаратного сверхцентрализма, объективно продолжающая, по ленинской мысли, великодержавно-шовинистическую линию царского чиновничества, находящаяся в явном противоречии с социалистическими, демократическими принципами решения национального вопроса, тоже сохраняет свою силу, и именно борьба с ней составляет главную задачу в перестройке национальных отношений в нашей стране. Проявления «местного» национализма, патриархальщины, о которых часто говорят, тоже, конечно, существуют, они не выдуманы, но представляют собой защитную реакцию против этой всеобезличивающей тенденции, как бы ее оборотную сторону<sup>1</sup>. Так что перестройка структуры национальных отношений в нашей стране всецело соответствует главному направлению перестройки в целом: демократизации общественной жизни. И наоборот: последовательная демократизация советского общества невозможна без демократизации национальных отношений.

---

<sup>1</sup> Тут опять-таки напрашивается цитата из Ленина: «Необходимо отличать... национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того, — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений» (т. 45, с. 359). В наших условиях «национализм нации угнетающей» заменяется внутренней потребностью бюрократического аппарата.

Но каковы должны быть конкретные принципы этой демократизации, вызывает споры. Например, упомянутый выше Г. Попов предлагает принцип культурно-национальной автономии. Само это словосочетание отнюдь не вызывает у меня такого священного ужаса, как у генерал-лейтенанта в отставке Г. Самойловича, с негодованием отозвавшегося в «Нашем современнике» на размышления Г. Попова. Ничего не имею и против отдельных предлагаемых Г. Поповым мероприятий, уместающихся в принципы культурно-национальной автономии (создание землячеств, принципиальная возможность учиться на родном языке в любом регионе Советского Союза и т. д.). Но почему все же культурно-национальной автономии отдается предпочтение перед принципом самоопределения наций: надо ли считать, что этот последний устарел, или он уже исчерпал себя, полностью воплотившись в жизнь? Слова Попова о том, что «один лишь территориальный принцип решения национального вопроса исчерпывает себя, становится в иных случаях тормозом», заставляют думать, что дело обстоит именно так, потому что «самоопределение», существенным образом связанное с государственностью, без «территориального принципа» невозможно. Еще более ясной становится его точка зрения, когда он советует приглядеться к опыту решения национального вопроса в США, а собеседник Г. Попова Н. Аджубей, отметив, что у нашего и американского народов много общего, сослался на отрывок из письма Уолта Уитмена русскому издателю: «...И у вас, и у нас — разнообразие племен и наречий, которому во что бы то ни стало предстоит спаяться и сплавиться в единый союз». Вот с этим уж согласиться я никак не могу. У наших двух стран действительно можно найти много общего, но национальный вопрос здесь и там стоит принципиально различным образом. США — страна эмигрантов, т. е. людей, сознательно и добровольно **отказавшихся** от своей родины и **избравших** новую родину, создавших новую нацию (это не касается коренных жителей, родину не покидавших, и потомков чернокожих рабов, увезенных с родной земли силой — потому им особенно трудно интегрироваться в американское общество). Американские штаты — чисто административные единицы, и их население лишь случайно может обладать какими-то этническими особенностями. Несмотря на сохранение отдельных национальных землячеств, сам факт выбора новой родины побуждает, по крайней мере, большинство представителей различных «племен и наречий» в конечном счете «спаяться и сплавиться» в единую новую нацию — американцев. В Совет-

ском же Союзе, в отличие от царской России с ее ассимиля- торской политикой по отношению к национальным меньшинствам, такая задача не стоит. СССР — федерация, состоящая из национальных государств, из народов, живущих на своей исторической территории. У этих народов общие политические, социальные, экологические и другие интересы, но каждый из них в составе СССР продолжает свою национальную историю, и потому нет никаких оснований говорить о создании единой советской нации. Конечно, в каждой из республик в большем или меньшем количестве живут люди «некоренной» национальности, и потому принцип «самоопределения» требует в качестве **дополнения** и элементов «культурно-национальной автономии» (в Грузии, например, такими элементами являются русские, армянские и азербайджанские школы, радиопередачи и газеты на различных языках и т. д.). Но **основным** остается принцип национальной государственности советских республик. Именно его и следует развивать с целью дальнейшей демократизации национальных отношений. Именно он пострадал в наибольшей мере от засилия аппаратного централизма. А если уж искать западные аналогии, намного уместнее было бы вспомнить лозунг «Соединенных Штатов Европы», переживающий сейчас второе рождение в странах «Общего рынка». Кстати, В. И. Ленин в своей известной статье по поводу этого лозунга, считая его неприемлемым в условиях империализма, вместе с тем видел в этом проекте «ту государственную форму объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, — пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического, государства» (т. 26, с. 354).

Этот подход поддерживает и резолюция XIX Всесоюзной партийной конференции «О межнациональных отношениях»: «В рамках перестройки политической системы следует осуществить назревшие меры по дальнейшему развитию и укреплению советской федерации на основе демократических принципов. Речь идет прежде всего о расширении прав союзных республик и автономных образований путем разграничения компетенции Союза ССР и советских республик, децентрализации, передачи на места ряда управленческих функций, усиления самостоятельности и ответственности в сфере экономики, социального и культурного развития, охраны природы».

Не повлечет ли это развития тенденции к сепаратизму, национальной замкнутости? Как раз наоборот. Национальная открытость, расширение межнациональных контактов, будь то

16.03.57  
210-111033

в области экономики или культуры — требование жизни, которому очень трудно противостоять, точнее, которому можно противостоять лишь в ущерб интересам собственной нации. Тенденция к замкнутости — реакция на сверхцентрализм, бюрократическое пренебрежение к национальной специфике, она продиктована боязнью потери своего национального лица и растворения в общей массе. Т. е. это естественный механизм этнической самозащиты, актуализирующийся в ответ на всенивелирующую централизацию и становящийся излишним в той мере, в какой расширяется реальная самостоятельность республики. Конечно, на первом этапе децентрализации где-то на время могут активизироваться и изоляционистские тенденции, но это будет именно инерцией старого, а не результатом новой политики.

В чем основные принципы федеративного устройства СССР? В равноправии и суверенности республик. Наше **единство** осуществляется именно **через** это равноправие и суверенность, а не **помимо** его. Еще в 1918 году в проекте резолюции для Учредительного собрания В. И. Ленин писал: «Учредительное собрание ограничивает свою задачу установлением коренных начал федерации Советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном советском съезде, желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях» (т. 35, с. 223). Если в правовом государстве действует принцип: «разрешено все, что не запрещено законом», то в федеративном многонациональном правовом государстве должен действовать принцип: суверенность союзной республики ограничена только в той мере, в какой она сама добровольно ограничивает свою власть в пользу союзного правительства. Т. е. компетенция союзного правительства **исчерпывается** теми вопросами, от суверенного решения которых республики добровольно отказываются. Полный перечень таких вопросов должен даваться в Конституции федеративного государства. В статье 73 Конституции СССР есть одна, на мой взгляд, принципиальная некорректность: перечисление вопросов, находящихся в ведении СССР в лице его высших органов государственной власти и управления, заканчивается пунктом: «...решение других вопросов общесоюзного значения». Что значит — «других»? Это должно быть точно и исчерпывающе определено. В противном случае этот пункт может оказаться лазейкой для нарушения федеративного принципа устройства СССР, для навязывания

вания центральным бюрократическим аппаратом своей воды республикам.

Если смотреть с содержательной точки зрения, то, конечно, в ведении союзного правительства должны быть только те вопросы, централизованное решение которых необходимо для самого существования СССР как единого государства, т. е. решение которых возможно **лишь** в централизованном порядке. В той же статье, в которой подвергалась критике сталинская концепция автономизации, Ленин писал: «Не следует зарекаться никоим образом от того, чтобы в результате всей этой работы вернуться на следующем съезде Советов назад, т. е. оставить союз советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов» (т. 45, с. 361—362). Это предположение Ленина, естественно, впоследствии никак не поддержанное Сталиным, явилось результатом раздумий прозорливого политика-практика над проблемой национального, понимания того, насколько болезненно воспринимают представители любой национальности ограничение своего национального суверенитета. Ничто не может помешать истинному интернациональному единству и способствовать распространению националистических настроений в большей степени, чем пренебрежение к национальному суверенитету и вызванные этим чувства людей. Поэтому идти на такое ограничение национального суверенитета допустимо только в тех случаях, когда этого невозможно избежать.

XIX партийная конференция сочла заслуживающими внимания предложения о переходе союзных республик и регионов на хозрасчет. Некоторые экономисты—энтузиасты хозрасчета — видят в этом опасность сепаратизма, но такие предположения нелогичны: если переход отдельных предприятий на хозрасчет не означает их выпадения из единой народнохозяйственной системы, то почему подобных результатов ждут от республиканского хозрасчета? Переход республик на полный хозяйственный расчет имеет не столько экономическое, сколько политическое значение: без самостоятельности на уровне базиса, в области экономики, нация не может почувствовать реальной самостоятельности, не может узнать, чего она стоит на самом деле. С другой стороны, бесконтрольное хозяйничание союзных ведомств на территориях национальных республик, не слишком считающееся с национальной спецификой и интересами именно этой республики, будучи само по себе проявлением бюрократического самовольства, приобретает националь-

ную окраску, воспринимается как принижение национальных интересов и фактически является таковым. Мне вообще непонятно, зачем в условиях экономической реформы и связанного с нею коренного изменения функций отраслевых министерств сохранение такого института, как «предприятия союзного подчинения»? Разве союзное ведомство не может сделать госзаказ республиканскому предприятию? Если руководство экономикой действительно осуществляется экономическими методами, такое «союзное подчинение» ничего не дает. Зато оно чревато нежелательными последствиями в области национальных отношений.

Экономическая реформа вообще идет у нас со скрипом, и переход на региональный хозрасчет тоже легким быть не может. Но в других областях зацентрализованность нашей жизни преодолеть в принципе легче. Насколько, например, необходимо для единства нашей страны существование таких союзных ведомств, как Министерство культуры, Госкомиздат, Комитет по народному образованию; зачем союзная Академия наук? В чем заключаются те функции, которые не могли бы взять на себя соответствующие республиканские ведомства? Как ученый секретарь академического института могу с полной ответственностью заявить, что союзная Академия наук — совершенно лишняя организация. Функцию координатора исследований, проводящихся в республиканских академиях, она выполняет лишь формально, т. е. попросту не выполняет. Заинтересованные институты координируются, если им нужно, сами, а информацию о проводимых в различных частях страны исследованиях они могут получить во Всесоюзном научно-техническом информационном центре — вот эта организация действительно необходима. Что же касается распределения вакансий академиков и «членкоров», то с этим сложным делом прекрасно справятся, думаю, и республиканские академики. Но дело не только в том, что существует лишняя контора, отрывающая от настоящего дела ученых мирового значения. Бюрократические излишества и здесь приобретают национальный оттенок. Часто говорят о том, что не существует Академии наук РСФСР, что это несправедливо. Тут сомнений быть не может: отсутствие российской Академии — абсурднейшая несправедливость. Но несправедливость по отношению к кому? Только ли к русским ученым? Ведь академическая наука в России существует, однако она называется не российской, а всесоюзной. Т. е. те академические учреждения, которые по идее должны бы входить в АН РСФСР, если бы таковая существовала, не-

посредственно входят в союзную Академию, ученые, которые могли бы быть членами российской Академии, избираются прямо в Академию всесоюзную. А статус учреждения Академии наук СССР, статус союзного академика, согласно определению, выше, чем статус республиканского академического института, статус республиканского академика. Кто в этой ситуации будет чувствовать себя ущемленным? И способствуют ли размышления о таком положении вещей (не только в настоящей статье, но и в головах российских и «республиканских» ученых) упрочению дружбы народов?

Но наука, кроме гуманитарной, по своему содержанию наднациональна. Существование всесоюзных ведомств в области управления культурой, искусством, наложение на культуру бюрократических структур приводит к еще большим несуразностям. Раз существует Министерство культуры СССР и республиканские министерства, то и культуру начинают делить на всесоюзную и республиканскую, точнее, «национальную». Но ведь ненациональной культуры не бывает! Говорят, допустим, о роли «национальных кинематографий» в советском кино, проводят телевизионный фестиваль «фильмов союзных республик» — как будто советское кино не исчерпывается суммой и единством советских национальных кинематографий, как будто существуют советские фильмы, не являющиеся вместе с тем «фильмами союзных республик». Раз объединение «Экран» или «Мосфильм» подчиняются союзным ведомствам, это не значит, что и снятые на них фильмы тоже «союзные». Это национальное русское кино, этим оно и интересно. Но для удобства бюрократов оно ставится в какое-то особое положение, что может восприниматься несправедливостью как по отношению к русской культуре, так и ко всем остальным.

Естественным элементом в федеративном устройстве СССР является конституционное закрепление государственного языка в некоторых из союзных республик (Азербайджане, Армении и Грузии). Раз есть национальная государственность, логично и существование национального языка в качестве государственного. Тем не менее в центральной прессе высказывалось отрицательное или, по крайней мере, настороженное отношение к самому статусу государственного языка в этих республиках. При этом обычно ссылаются на Ленина. Но ведь Ленин выступал против объявления русского языка государственным для всего многонационального советского государства! Народы, перешедшие в Советское государство из Российской империи с ее принудительной русификацией окраин, восприняли бы

«государствление» русского языка как продолжение большевиками той же политики, что настроило бы их как раз против русского языка, — резонно опасался Ленин: разве «государственный язык» не означает палки, **отбивающей** от русского языка?», — писал он (т. 48, с. 234). Кроме того, фактический статус русского языка как языка межнационального общения и языка общесоюзной администрации сам по себе приводит к фактическому неравенству национальных языков по отношению к русскому. Это фактическое неравенство по отношению к одному из языков в союзном многонациональном государстве неизбежно, но конституционное закрепление русского языка в качестве государственного еще более усугубило бы это неравенство. Наоборот, такое неравенство должно быть **компенсировано** другими мероприятиями, в том числе и законодательного характера в пользу национальных языков<sup>1</sup>. Вот такой компенсацией является и государственный статус национальных языков в трех закавказских республиках. В данном случае объявление языка государственным, т. е. соответственно в некотором смысле привилегированным, является не основой неравенства, а, наоборот, гарантом равенства.

В чем же опасность признания государственного статуса за национальными языками? У М. Губогло, например, возникает такой вопрос: «А как тогда быть остальным народам СССР, имеющим иные формы национально-государственного устройства или вовсе не имеющим таковых?» (газета «Правда», 28.03.88). М. Губогло, видимо, подразумевает, что эти народы могут оказаться неравноправными по отношению к тем, чей язык является государственным. Но сразу хочется задать контрвопрос: в чем источник этого неравенства — в том, что данные народы «имеют иные (т. е. более низкие по статусу) формы национально-государственного устройства (автономные республики или области, национальные округа) или вовсе не имеют таковых», или в том, что в некоторых республиках национальные языки объявлены государственными? Насколько страдают национальные права ненцев в Ненецком национальном округе от того, что армянский язык является государственным

---

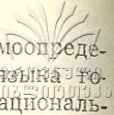
<sup>1</sup> «...Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации... должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в том неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 359).



ным языком Армянской ССР? Кроме того — а что мешает законодательно закрепить государственный статус национальных языков также и в этих «иных формах национально-государственного устройства»? Другой, более часто приводящийся аргумент состоит в том, что признание языка коренной национальности государственным языком республики может вызвать неравноправие по отношению к представителям других национальностей, живущих в этой республике. Но ведь выделение одного из языков в качестве государственного означает не ограничение в употреблении других языков, а только то, что на данном языке должны работать государственные учреждения республики. Они должны работать на каком-то языке, и нереально требовать, чтобы они работали одновременно на языках всех национальностей, представители которых живут в данной республике. М. Губогло предлагает в качестве выхода «конституционное закрепление **во всех** (подчеркнуто мной. — Г. Н.) национально-государственных образованиях одновременно двух государственных языков: языка коренной национальности и русского — как языка межнационального общения». Тут, во-первых, надо сказать, что определение государственного языка или языков — дело самого «национально-государственного образования», и навязывать единый рецепт из центра — самое худшее, что можно предложить в данном случае. Стричь всех под одну гребенку плохо всегда, а в вопросах национальной политики неприемлемо вдвойне. Во-вторых, непонятно, каким образом принятие предложения М. Губогло решит проблему равенства? Если признание грузинского языка государственным языком Грузии как-то ущемляет права живущего здесь армянина, почему добавление русского языка в качестве государственного снимет это ущемление? Что касается функции русского как языка межнационального общения, то она сформировалась сама по себе, и в выполнении этой функции русский язык не имеет никаких конкурентов в общесоюзном масштабе. Но само **общение**, внутри- или межнациональное, есть частное дело, и предложение законодательно закрепить язык общения в любом случае бессмысленно. Кроме того, если в масштабе всей нашей страны русский — единственный язык межнационального общения, то в отдельных республиках дело может обстоять и по-другому. Когда в тбилисском дворе вместе живут грузины, армяне, азербайджанцы, русские, курды, евреи и другие, то функцию языка межнационального общения очень часто вполне эффективно выполняет грузинский. Так что

и в этом отношении единого и окончательного решения вопроса быть не может.

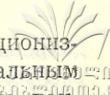
В чем вообще состоит национальное равноправие в области языковой политики? В чем состоит равноправие языков? Язык не есть достояние отдельной личности. Язык есть достояние целой культуры, нации. Право языка на существование и на всестороннее развитие есть право культуры, право нации, и право личности на язык есть в конечном счете право принадлежать к определенной нации и пользоваться всей полнотой культурных и социальных благ в качестве представителя данной нации. Т. е. право личности в данном случае непосредственно предстает как право языка как такового и право нации как таковой. В государственном статусе языка лишь получает юридическое закрепление и подкрепление то обстоятельство, что он является **общенациональным** языком, фактором, объединяющим и формирующим нацию в отличие от устных диалектов и жаргонов, такими факторами не являющимися. (В этом противостоянии общенациональный язык совпадает с литературным.) Всестороннее развитие языка возможно лишь в качестве общенационального, а не в качестве этих диалектов и жаргонов, — хотя они тоже необходимы, как необходимы реке впадающие в нее ручейки. В противном случае сферы его применения будут лишь частными, лишь частичными, и в условиях огосударствления общественной жизни он будет поглощен более мощным общенациональным языком. Каждый язык имеет шанс быть общенациональным лишь у себя на родине, в стране, где нация — носительница данного языка — составляет «коренное население». Поэтому присвоение языку государственного статуса есть правовое закрепление **равноправия** языков. Но в среде обитания каждого народа, как правило, живут и представители других национальностей. Не ущемляются ли в результате этого их права, права их языков? Во-первых, в подавляющем большинстве случаев подразумевается, что язык представителя данной, «некоренной», национальности где-то, где эта нация «коренная», пользуется или должен пользоваться государственной и правовой поддержкой, там он во всей полноте развивается в качестве общенационального и литературного. В этом отношении демократические языковые права должны выражаться прежде всего в беспрепятственности контактов со сферой обитания «коренного населения», с ареалом применения языка в качестве общенационального; образно говоря, в том, чтобы «отросток» имел полную возможность питаться живительными соками от «ствола». Т. е. это как раз



тот случай, о котором я говорил выше: программа самоопределения (выражающаяся в признании национального языка государственным) дополняется программой культурно-национальной автономии. Во-вторых, тот, кто добровольно покинул свою национальную среду, тем самым добровольно отказался по крайней мере от части национальных прав. Автор этих строк — убежденный сторонник свободы и беспрепятственности добровольных миграций как в масштабах Советского Союза, так и всего мира — хотя в случае с массовыми миграциями могут быть обстоятельства, когда принимающая страна не может справиться с потоком мигрантов и вынуждена вводить какие-то ограничения. Но, по своей воле попав в инациональную и иноязыковую среду, мигрант должен с этим считаться. Ни одному самому последовательному борцу за права алжирцев во Франции не придет в голову требовать, чтобы во французских государственных учреждениях с алжирцем говорили на арабском языке. У нас, в Советском Союзе, нет эмигрантов и иммигрантов, есть просто мигранты, каждый советский гражданин в любой точке страны чувствует себя у себя дома и пользуется всей полнотой политических и социальных прав. Но проживающий в Эстонии грузин, написавший в эстонский райисполком заявление о расширении жилплощади на грузинском языке, вряд ли будет встречен с пониманием. Ни один язык не должен быть ограничен в своем применении, но то, что государственные учреждения той или иной республики работают на определенном языке, а не на всех сразу, не должно рассматриваться как «ограничение» или ущемление чьих-то прав. Наоборот — это осуществление прав республики и ее народа.

Конечно, в нашей стране живут и представители национальностей, у которых нет своих национально-государственных образований ни в Советском Союзе, ни за его пределами (курды, цыгане, ассирийцы и т. д.). За этим обычно стоит историческая трагедия этого народа, и она должна быть максимально компенсирована хотя бы в рамках программы культурно-национальной автономии. Но то, что в советских республиках есть государственные языки, не может рассматриваться как ущемление их прав в той же мере, в какой таковым не является само существование в нашей стране национально-государственных образований.

Особенно остро воспринимается и обсуждается второй аспект языковых взаимоотношений — проблема двуязычия. Это тоже деликатный вопрос, и не каждому, кто его касается, уда-



ется рискованное путешествие между Сциллой изоляционизма и Харибдой пренебрежения к «местным» национальным проблемам. Вообще в условиях, когда межнациональные контакты становятся делом повсеместным, обыденным и каждодневным, двуязычие в определенном смысле этого слова — проблема не общесоюзная, а всемирная. У западноевропейцев нет общего государства, но у них, по крайней мере в более просвещенной части населения, практически повсеместно действует национально-английское двуязычие. Это, употребляя газетный штамп, веление времени. Тем более трудно представить себе без реальности двуязычия жизнь в союзном многонациональном государстве. В Советском Союзе, как я уже сказал в этой статье, в силу исторических, демографических, даже географических причин русский язык — единственный претендент на роль языка межнационального общения. На этом уровне никаких серьезных споров, по-моему, быть не может. Споры и недоразумения начинаются, когда проблема двуязычия превращается из практической в политическую, т. е. когда практическая необходимость двуязычия объявляется одним из пунктов государственной национальной политики. В принципе это, конечно, нормально: раз двуязычие — глобальное явление, вызванное практической целесообразностью, то вполне естественна и поддержка этого явления со стороны партии и государства. Но в чем должна состоять и насколько далеко должна идти эта поддержка? Если во всесторонней помощи людям, которые хотят изучить второй язык — то тут вопросов нет. Но как только рядом со словом «двуязычие» встает слово «внедрение» или какой-нибудь из его синонимов, сразу появляется чувство протеста не только против самого «двуязычия», но иногда, что особо прискорбно, и против языка межнационального общения, против культуры, которую он представляет, и против этноса, который является носителем этого языка и этой культуры. Такая реакция, конечно, несправедлива с человеческой точки зрения, но она предсказуема как факт общественного сознания, и с ней следует считаться. Как раз потому, что распространение двуязычия — естественный и диктуемый объективными общественными потребностями процесс, его не следует форсировать, и надо строго соблюдать в этом вопросе принцип добровольности. Повторю еще раз сказанное в начале статьи: человек, не знающий русского языка, обделяет себя, но надо уважать его право обделять себя. Если мы не хотим восстановить население союзных республик против русского языка, если не хотим, чтобы на него смотрели, как на «палку», то

должны иметь положение, когда каждый гражданин союзной республики, если он живет в «своей» республике, имеет возможность прожить и без знания русского языка или со слабым его знанием<sup>1</sup>. И наоборот: поскольку ни один «национал» в Москве или в Перми без знания русского языка не проживет, то и, по крайней мере, для работы в государственных учреждениях союзной республики знание национального языка республики должно быть обязательным (права мигрантов при этом страдать не должны — для них надо организовать обучение национальному языку). Понятно, что в некоторых республиках соблюдение этих условий сегодня совершенно нереально. Но дело не в этом, и необязательно шить всем одинаковый кафтан. Речь идет лишь о том, что такой подход должен быть признан **принципиально** приемлемым и осуществляться там и постольку, где и поскольку это возможно. Он ни в коей мере не ограничит фактическое распространение русского языка: он ослабит лишь позиции «местного национализма».

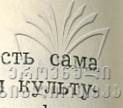
Для правильного понимания проблем двуязычия надо лучше уяснить некоторые трудности, которые не всем хорошо видны, особенно если смотреть только из московской перспективы. Прежде всего надо не бояться сказать, что ситуация двуязычия, — даже само собой, стихийно распространяющегося двуязычия — кроме положительных, имеет и свои отрицательные стороны. Признание этого факта само по себе отнюдь не означает отрицательного отношения к двуязычию точно так же, как из признания отрицательных последствий индустриализации не вытекает призыв вернуться в пещеры. А когда двуязычие еще и «внедряют», эти отрицательные стороны могут привести к серьезным межнациональным трениям. Ведь ситуация двуязычия — в любом случае ситуация **фактического** неравенства. Хотя бы потому, что необходимость знания двух языков распространяется только на тех, для кого язык межнационального общения не родной; если он родной, можно обойтись только им. Конечно, необходимость знания второго языка можно считать и привилегией: как говорят в Грузии, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но эта пословица касается только изучения языков по свободному выбору. В условиях стихийного двуязычия такое неравенство, скорее все-

---

<sup>1</sup> Я, конечно, ни в коем случае не призываю исключить обучение русскому языку из нерусских школ. Иностранцам у нас тоже обучают во всех школах, но это не приводит к повсеместному их знанию взрослым населением страны.

го, вызовет не протест, а уважение к народу — носителю языка межнационального общения и к его культуре, сам выбор этого языка будет своеобразным признанием высокого уровня стоящей за ним культуры. Но как только возникает подозрение, что нация навязывает свой язык, она сразу получит ярлык «угнетательница», и всякая агитация за «двуязычие», особенно со стороны ее представителей, будет приниматься в штыки. Здесь необходима особая деликатность. Вот, например, корреспондент Центрального телевидения берет интервью у пожилой карабахской армянки, с трудом выговаривающей русские слова. Мучается женщина, мучается многомиллионная телеаудитория. Но корреспонденту не приходит в голову взять, а женщине — потребовать переводчика: ведь переводчик — это для иностранцев. Тут не только в том дело, что кому-то пришлось помучиться. Когда знаешь язык на примитивном уровне, то и мысли, высказанные на нем, получаются примитивными, и тебе остается лишь выгодно оттенять собой высокий интеллектуальный уровень собеседника. Частность? Да, если бы это был единичный случай. Но когда постоянно говоришь с человеком на его, а не на своем языке, это все равно, что постоянно играть с футбольной командой на ее, и никогда — на своем поле. Я отнюдь не к тому говорю, что надо общаться друг с другом через переводчиков — хотя в некоторых случаях, подобных описанному, это было бы вполне уместно. Речь идет о том, что последствия такого фактического неравенства, о котором и о которых говорил еще Ленин, могут быть очень опасными для нашего межнационального сотрудничества, и **политические** действия в этом отношении должны быть максимально направлены на устранение этих последствий и **компенсирование** этого фактического неравенства, а не на форсирование и «внедрение» двуязычия.

Вопрос о «компенсации» встает еще и потому, что опасность двуязычия — не только в его воздействии на болезненное самолюбие «националов». Двуязычие представляет опасность и для национальной культуры как таковой. Язык ведь — не просто язык, он — выражение культуры, и культура — носительница языка межнационального общения как культура привилегированная приобретает особую притягательность. Она втягивает в свою орбиту другие культуры как в силу престижности, так и практического удобства: ведь лучше писать книги или петь песни на языке, который понимает много людей. Малые нации вступают в международный культурный диалог через «мировые языки». Таким образом создается некоторая опасность



для самобытности национальных культур. Эта опасность сама по себе отнюдь не трагична, но требует и самозащиты культуры. Английский язык во Франции никто не «внедряет», но французам все же приходится на правительственном уровне следить за чистотой своего языка, и отнюдь не все они в восторге от тенденции «американизации» своей культуры и быта. Тем не менее все это — нормальные процессы межкультурных контактов. Кто-то на кого-то всегда воздействует, и воздействие более жизнеспособных и развитых на данный момент культур всегда сильнее. Винить здесь некого. Но когда на эти естественные процессы накладывается идеология форсированной интернационализации жизни и засилие бюрократического аппарата, который раздражает всякое многообразие и в том числе языковое, опасность усиливается, а вместе с опасностью усиливается и противодействие. Майя Ганина в упомянутом выступлении на Пленуме Союза писателей заявила, что предпочитает иметь в качестве языка межнационального общения узбекский, поскольку плохо знающие русский «националы» коверкают, засоряют и оказенивают его, сохраняя свои родные языки в первозданной чистоте. Не стану спорить, что особый статус русского языка и перед ним ставит определенные и достаточно острые проблемы. Казенные штампы, канцелярит — представляю, как они мешают русской писательнице. Но все же они произросли из своего собственного материала. А лучше, когда приходится оперировать канцеляритом переводным, скалькированным, и то наспех? Какая уж тут «первозданность»...

Вообще для сохранения языка в «первозданной чистоте» самый верный способ — забыть его, отказаться от его употребления. Что это опасность не чисто теоретическая, убеждает та же самая статья Айдара Халима. Многие опасаются, что форсированно внедряемое двуязычие — лишь перевалочный пункт на пути к русскому одноязычию. И совсем не обязательно видеть за этим сознательную политику «русификации». Это — тенденция бюрократически-аппаратного централизма. Но эту тенденцию нужно **видеть**, и ей надо **противостоять**. Вот член-корреспондент АН СССР О. Трубачев называет Белоруссию «высококультурным регионом сплошного двуязычия». Никакая опасность белорусскому языку, по его мнению, не грозит, свидетельство чему — «блестящая современная белорусская советская литература» и «изумительно богатые народные говоры». Народные говоры — это хорошо, но, как я уже говорил, национальную культуру формируют не они, а общенациональный литературный язык. А действительно блестящие

белорусские писатели, в отличие от О. Трубачева, ссылающегося на их существование, очень даже обеспокоены состоянием этого языка, его вытеснением из многих сфер общественной жизни, малым количеством белорусских школ и в последнее время постоянно об этом говорят. Что означает «сплошное» двуязычие, если значительная часть населения перестала говорить на родном языке?

Главное в том, что бюрократическое бездушие и бестактность либо субъективная односторонность имеющих трибуну деятелей вызывает у многих не только протест против бюрократизма или конкретных мыслей конкретных людей, — они порождают подозрения в существовании направленной и разработанной политики «русификации» и в том, что русский народ сам заинтересован в этой политике. Насколько существование таких настроений плохо для нашей межнациональной дружбы и межнационального доверия, объяснять никому не надо. Разубедить в этом может только осознание того факта, что происходящие процессы неблагоприятны также и для русской культуры. Я не собираюсь критиковать общество «Память», во-первых, потому, что недостаточно информирован о его деятельности, во-вторых, потому, что, если оно заслуживает критики, это дело русских интеллигентов. Но даже признавая платформу «Памяти» совершенно неприемлемой, следует признать, что тревога за самобытность русской культуры возникла не на пустом месте. Только дело не в кознях «внутреннего врага», т. е. затесавшихся в русскую культуру замаскировавшихся инородцев, а в «особом статусе» русского языка и русской культуры. Канонизация русского языка в качестве «языка межнационального общения» вместе с описанной выше тенденцией бюрократического механизма порождает представление и о русской культуре как вроде бы «межнациональной».

Нации, как я уже сказал, самим своим существованием порождают множество проблем. Нашему обществу предстоит долгая и непростая совместная работа для их решения. Никаких рецептов в связи с этим автор настоящей статьи не предлагает — по той простой причине, что их не может быть. Просто для того, чтобы приняться за решение сложной проблемы, надо прежде всего понять, что она сложная, что ее сложность настоящая, а не надуманная. Попытка уяснения этого обстоятельства и была целью автора.





## ЭТО БЫЛО СО МНОЙ...

Хронику этой трагедии и сегодня может восстановить каждый. 7 декабря, 11 часов 41 минута. Эти цифры возвращают нас к страшным мгновениям, которые пережила Армения. Мы жадно ловили первые скудные сообщения о землетрясении и дальше, день за днем, с болью, тревогой смотрели, читали слушали. Информация была объемной и объективной. И сегодня нам нет смысла соперничать с телевидением и прессой в оперативности и детальности. Нашу задачу мы видели в другом. Один из нас побывал на месте события, другая узнавала о нем опосредованно — из средств массовой информации, по рассказам очевидцев. Два взгляда на одну ситуацию — это наша попытка понять и проанализировать, что может человек, какой он. Ведь подобные катастрофы особенно ярко проявляют то, что есть в человеке, в обществе — прочного и хрупкого, доброго и плохого.

**И. Купарадзе:** — Пусть не прозвучит это кощунственно, но я тебе по сей день завидую. Ты был там, я — нет. Мне кажется, что журналист обязан быть в горячей точке, невзирая на то, получил он редакционное задание или нет.

**М. Елигулашвили:** — Наверное, если бы это было реально, там должен был побывать не только каждый журналист, а каждый человек вообще. Видя страшные картины разрушений, не отстраненно, а воочию воспринимая информацию о числе погибших, начинаешь по-иному смотреть на многие вещи, которые прежде тебе казались очень важными. Бытовые проблемы, суетное мельтешение отступают на второй план, кажутся просто мелочными. Происходит полное переосмысление жизненных критериев. Хотя не скрою: время от времени у меня и сейчас возникает мысль, может быть, малодушная — лучше бы я всего этого не видел.

И. К.: — Почему? Тебе стало сложнее жить?

М. Е.: — В те дни один знакомый сказал мне: «Знаешь, три раза в день я чувствую себя подлецом. За завтраком, обедом и ужином. Ведь там хлеб с грузовиков раздают, а рядом, с такого же грузовика — гробы...»

И. К.: — Такое чувство возникало у многих. Твой горячий обед и теплая квартира... Казалось, что своим бытовым благополучием ты оскорбляешь тех, кто там. Но почему так остро воспринималась именно эта трагедия? Каждый день на земле что-то происходит: миллионы голодают, миллионы остаются без крова, миллионы погибают. Потому, что это произошло рядом, с соседями, а значит, могло произойти и с тобой? Думаю, дело не только в этой реальной опасности. Нас, в общем-то еще не подготовленных к восприятию подробной и безжалостной информации без обычного прежде бодрячества, сделали участниками общей катастрофы. Отсюда возникло сопереживание. И все-таки вначале не покидало ощущение, что все далеко не так вселенски страшно: здесь извечный протест против непоправимой беды, но, кроме этого, сказалась привычка не доверять своему брату журналисту. Согласись, мы порой не устоим перед тем, чтобы принести факт в жертву эпитету.

М. Е.: — Наоборот. В этой ситуации любое, самое безбожное преувеличение было бы преуменьшением истинных масштабов трагедии. Да, вместо прежнего: «произошло землетрясение, разрушения незначительные, жертв нет», мы получили возможность писать о том, что случилось, открыто и достоверно. Но ни одна газетная публикация, ни один телерепортаж просто не способны передать всего так, чтобы человеку, не видевшему происшедшего, стал ясен масштаб. Первое ощущение — шок. Мы, корреспонденты «Молодежи Грузии», въехали в Спитак на машине вечером, когда смеркалось, и все же то, что мы увидели, на некоторое время просто лишило нас дара речи. Казалось, что весь город — это одна сплошная крыша, и лишь щепки напоминают о том, что между крышей и землей что-то было... Люди, еще не до конца осознающие, что произошло... На окаменевших лицах один вопрос: «Зачем мы остались живы, если погибли все?!» Мы не могли подходить к людям, которых от удара отделяли считанные часы, или к только что извлеченным из-под обломков, и спрашивать про их ощущения. И к тем, кто работал, спасая людей, мы тоже не позволяли себе обращаться с расспросами: пять минут, которые мы отняли бы у них, могли оказаться в тот момент решающими. Пять минут в такой ситуации — вечность. Там время измеря-

лось другими категориями. Спрессованное, сжатое до предела оно отторгало все лишнее. Мы пытались успокоить себя мыслью, что тоже делаем что-то нужное, и все же постоянно чувствовали себя чужеродными в этом организме, нацеленном на выживание.

— «Разделить беду». Эти слова давно уже стали штампом. Как это: наполовину ты погорюй, наполовину — я, и тебе станет легче вдвое? Глупость. Кто может облегчить горе Ашота Погосяна, у которого погибли четыре ребенка? Или Жоры Гаригяна, похоронившего двенадцать родных людей из двух рядом стоявших домов? Многих, многих других. Просто стоять рядом и говорить ничего не значащие в такой ситуации слова? Нужно было другое — реальная, трезвая помощь — рабочими руками, помощь медицинская, одеждой, продуктами. И если ты не можешь помочь этим, лучше, по-моему, просто не ехать туда.

**И. К.:** — Ты отнимаешь у людей право на сочувствие. Моя знакомая плакала каждый раз, когда смотрела репортажи из Армении, и я убеждена, что тем, кто пострадал от землетрясения, эти слезы тоже были нужны. Ведь это — от сердца, искренне. Как искренен порыв старушки, пришедшей в армянскую церковь на Авлабаре отдать свою «десятку», а ее сначала не брали, потому что старушка была неухоженная, явно одинокая, но поняли, что ей необходимо было это сделать. Таких примеров тысячи. Но как ты мне объяснишь другое? Был секретарь райкома, который требовал, чтобы в газете непременно появилась заметка о его организации, оказывающей действительную помощь. Был главный инженер, который очень удивился, когда мы попросили его назвать несколько фамилий тех людей, кто с его предприятия поехал в Армению, но в то же время хотел, чтобы в заметке обязательно назывались директор и секретарь парткома, организовавшие отъезд. Что для них ценно — помощь, которую они оказывают, или проценты с доброго поступка? Не исключаю, что руководителям хотелось хоть как-то поощрить своих людей: вот, они работают, а я постараюсь, чтобы узнали об их хорошей работе, об их самоотверженности. Только есть здесь какая-то червоточина.

**М. Е.:** — А может, это унаследованная привычка к санкционированию и добрых дел тоже. Сегодня любят рассуждать о бездуховности молодого поколения и пытаются понять ее истоки. Но бездуховность этих просителей страшнее бездуховности пресловутых рокеров и металлистов. Заметь, что те же грузинские студенты очень смущались, когда мы обращались к

ним с расспросами, просили имен не называть. Да и вряд ли, когда они вернутся домой, участие в помощи Армении станет козырной картой в решении их житейских проблем.

Экстремальная ситуация. Мы ее анализируем и понимаем, что преодоление ее одновременно дает возможность осознать, что мы пожинаем из прошлого, какие уроки усваиваем на будущее. Дефицит духовности — багаж из прошлого. Растверяв моральные ценности, мы, осознанно или нет, ищем выгоды иного порядка. Даже при такой катастрофе.

**И. К.:** — Возможно, наоборот, это происходит потому, что наши моральные устремления не подкреплены социальными гарантиями. Я ни в коей мере не хочу усомниться в том, что организованные группы спасателей из-за рубежа ехали в Армению по велению сердца, по долгу человечности. Но в их словах, высказываниях наблюдались нотки уверенности в том, что благотворительность их дома будет оценена должным образом на государственном уровне. То есть конкретно за каждым из спасателей стоял набор каких-нибудь государственных гарантий: будь-то специальное лечение, освобождение от налогов, социальный авторитет.

**М. Е.:** — И это свидетельствует не о меркантильности, но о здоровье общества, о его умении ценить и движения души. Сегодня мы уже не стыдясь говорим, что нам многому можно и нужно учиться. В том числе и этому. И, бесспорно, умению решать чисто организационные вопросы. Многие иностранные группы рассказывали нам, что уже через два часа после трагедии они имели достаточное представление не только о ее масштабах, но и о характере первоочередной помощи. Не вдруг появились специально обученные собаки, поисковая техника, пневмоподушки, специальное медицинское оборудование, подобранное с учетом особенностей возможных травм. Их не собирали лихорадочно по всей стране. Лорс Хенриксон, руководитель шведской группы спасателей, рассказывал, что, хотя его группа — организованная единица, им, к счастью, нечасто приходится быть «при деле». Но это отнюдь не означает, что они не проводят регулярные, как минимум ежемесячные, тренировочные сборы, моделируя ситуации, максимально приближенные к экстремальным. Для всех пятнадцати человек профессия спасателя не основная, но и в этом деле они профессионалы. Примерно то же рассказывали о своей деятельности американские, швейцарские, итальянские, английские группы. Группы добровольцев. Но добровольцев-профессионалов! А наши добровольцы — слава их порыву! — оказались не более

чем энтузиастами-любителями. Максимально результативно действовали лишь отряды горноспасателей, как, например, донецкие, о которых слагались легенды, не особенно, кстати, расходящиеся с действительностью. Вот тебе, пожалуйста, урок на будущее. Значит, нам нужны аналогичные зарубежным группы спасателей, обученные, автономные, готовые собраться по первому зову. Они могут существовать при Красном Кресте, других обществах, просто сами по себе...

**И. К.:** — Давай не будем отрицать — одновременно со случившимся была запущена мощнейшая пропагандистская машина. Объем и достоверность информации убедили и неверующих в том, что гласность есть и будет. Пропаганда должна была работать и работала на то, чтобы использовать как можно больше вариантов воздействия на потребителей информации. Скажем так: появилась возможность вдохнуть новую жизнь в такие положения, как «нерушимая общность — советский народ», «мы — интернационалисты», «чужого горя не бывает». Вот такой пропагандистский ряд.

**М. Е.:** — Может быть, именно потому, что я там побывал, мне кажется, что наживать пропагандистский, и любой другой, капитал на подобном бедствии — кощунственно.

**И. К.:** — Это протест человека, который привык к тому, что пропаганда у нас жесткая, лобовая, а следовательно, рождающая сегодня обратную реакцию?

**М. Е.:** — Пропаганда должна перестраиваться, стать не жесткой и нелобовой не за счет умения воздействовать мягко и исподволь, используя ситуацию, а накапливая доверие к себе честностью и корректностью.

Когда я говорил о кощунственности сколачивания капитала на беде, я имел в виду не нежелательность пропаганды как таковой, а пропаганды голого слова. Я за пропаганду факта. Трагедия в Армении и преодоление ее последствий дали миллион таких фактов. Уже официально признано, что очень много домов в том же Ленинкане могли бы выдержать удар стихии, если бы строились добросовестно. Но ведь под обломками, наверное, погибли и некоторые из тех строителей, кто некогда продавал налево цемент со стройплощадки. Какие слова более жестоко и более убедительно, чем этот факт, заставят строить технологически честно и будущий Ленинкан и другие города?

**И. К.:** — Возьмем еще один пропагандистский ряд. Все мы не сомневались, что государство примет срочные и серьезные меры. О масштабе происшедшего нам, может быть, даже больше, чем первые сообщения, сказал факт отмены Михаилом

Сергеевичем Горбачевым зарубежных визитов. И это был поступок не только естественный для главы государства, но и акт человечности. Для меня человеком года стал и Николай Иванович Рыжков... Нас не только информировали о мерах и решениях, принимаемых специальной комиссией Политбюро ЦК КПСС, но и показывали в процессе работы тех, кто ее возглавлял. Мы стали ближе к своему правительству, а оно — и нам. Для меня один из лидеров страны стал не просто олицетворением должности, но личностью, которую я могла наблюдать в труднейшей обстановке, даже где-то оценивать его действия. Н. И. Рыжков производил впечатление человека собранного, волевого, знающего свое дело и не боящегося перед телекамерой показаться и раздраженным, и выведенным из равновесия, порой и растерянным. Но знаешь, казалось, что многие руководители союзного и республиканского масштаба не тянут на его уровень.

**М. Е.:** — С одним из таких руководителей нам довелось встретиться. Он тоже производил впечатление делового знающего человека. Но как только речь зашла, кстати, об абсолютно естественной организационной неразберихе первых часов, дней, он вдруг безапелляционно заявил: «А никакой неразберихи и не было! Все было в полном порядке!» (Это из той же серии, что и появившееся в одной из республиканских газет сообщение со словами: «Организовано встретили удар стихии труженики...») Но ведь мы своими глазами видели колонну техники из Грузии, стоящую на въезде в Ленинакан, потому что в штабе не удалось получить четкого ответа на вопрос, куда направиться. А чуть позже к нам на ленинаканской улице Пушкина подбежал человек с криком: «Вы же журналисты, сделайте что-нибудь, пусть нам дадут кран. За три дня из нашей пятиэтажки вытащили только одного человека, а сколько там еще!» Мы разговаривали с группой американских врачей, бесцельно бродивших по коридорам ереванской гостиницы и пораженных тем, что министерство здравоохранения уже второй день не может сказать им, приехавшим за тысячи километров, где их помощь может оказаться более действенной. Мы наблюдали, как группа итальянских спасателей продиралась через два языковых барьера, потому что с итальянского переводили на французский, и лишь потом парень-переводчик объяснял нашим, есть ли в этом доме кто-нибудь живой или спешить уже не стоит. И это тогда, когда счет шел на минуты. Мы беседовали с заместителем председателя Совета Министров СССР Ю. П. Баталиным уже на десятый день после ката-

строфы, и он откровенно говорил, что даже спустя столько дней окончательно преодолеть оргнеразбериху не удалось. А его армянский коллега заявляет, что, видите ли, все в порядке. Что это, желание сохранить пресловутую честь мундира даже в такой ситуации?

**И. К.:** — Столкновений в верхах мы раньше не видели. А тут мы узнали, что наше правительство — не единый монолит: люди отстаивают свои мнения, спорят, не соглашаются друг с другом. Должности отошли на второй план, на первый вышли личности со своим руководящим опытом, со своей школой. Все эти горькие, трудные дни шел процесс становления лидеров, ситуация рождала национальных героев. Было так, что лидерство совпадало с должностью, бывало, что героями становились люди, доселе никому не известные, которым по должности вроде бы не положено...

**М. Е.:** — Геройство не положено по должности? Я вообще против употребления в таких ситуациях слова «герой». Мы привыкли приклеивать штампы к абсолютно естественным проявлениям, может быть, потому, что просто забыли об их естественности. Называть героем инженера Баласана Магакяна, который в первые минуты после землетрясения вывел из здания школы нескольких ребятишек, а когда вошел туда в очередной раз, последний толчок разрушил первый этаж и Баласан погиб? Любой нормальный человек поступил бы на его месте так же. Называть героиней Люсинэ Карумян, которая бросилась между падающими балками в дом, чтобы вывести дочку? Какая мать не сделала бы то же самое? Старые штампы здесь не играют. Нужно, наоборот, придумать еще новое слово для людей иного рода, чьи поступки уходят в обратную сторону по шкале порядочности. Для учительницы одной из болнисских школ, которая, рассказывали, почувствовав первые толчки, ринулась очертя голову из класса, напрочь забыв о детях. Для того мародера, что ходил по развалинам с садовыми ножницами, собирая с трупов драгоценности... Было всякое. Экстремальная ситуация лучше, чем что бы то ни было, показывает, что ты есть на самом деле.

**И. К.:** — Какой будет судьба людей, ставших лидерами момента? Вспомним Чернобыль. Сколько там было людей, поступком завоевавших авторитет. О них писали, с ними устраивали встречи. А потом — почти забыли. Хотя можно было, наверное, учитывая именно прежнее отношение к ним, подумать, на каких должностях этот авторитет мог бы быть максимально полезен.

**М. Е.:** — Пока у нас происходит наоборот. Человек сначала оказывается на должности, а потом в подобных сложнейших ситуациях проходит своего рода испытание на прочность. Или подтверждает должность неформальным авторитетом, или наглядно демонстрирует свою недееспособность.

**И. К.:** — Испытание, прямо скажем, трудное и даже жестокое. Мне бы не хотелось оказаться на месте человека, который во имя спасения сотен жизней должен принести в жертву десять. Пожалуй, именно эта безжалостная альтернатива стояла перед теми, кто решал, куда в первую очередь направить технику — в города или отдаленные села. Создалось впечатление, что села в первые дни были брошены на произвол судьбы именно потому, что в городах можно было спасти больше жизней.

**М. Е.:** — Дело не в том, что до сел не доходили руки, и даже не в том, что до сел было сложно добраться. Не хватает техники — эти слова рефреном шли в каждой нашей встрече, в каждой беседе и на второй день после землетрясения, и на десятый. Хотя помощь Армении шла со всей страны, тянулись по восстановленному шоссе колонны, один за другим садились самолеты, шли поезда... Но слишком велики были масштабы трагедии. И хотя умом я прекрасно понимаю ситуацию со всеми ее проблемами, сердцем мне сложно оправдать тех, кто записал села во второстепенные объекты. Может, помощь им пришла бы раньше, если бы, как говорил нам тот руководитель, действительно не было неразберихи. Но, смотри, как работала группа грузинских студентов. Каждое утро выезжал специальный разведотряд, в чью задачу входило обнаружение сел и оценка степени разрушений. Вечером собирался штаб под руководством А. Глурджидзе и наутро уже более многочисленный отряд уходил на спасательные работы. Трудно поверить, что не было крупномасштабной карты района, на которую все эти села были нанесены. Но отряд получить ее не смог.

**И. К.:** — Так или иначе, но самое страшное здесь, что люди могли быть спасены, но не спаслись. Символом трагедии стал небольшой город Спитак. Забыть о том, что там произошло, невозможно. Буквально через неделю после трагедии к нам в редакцию пришли молодые архитекторы. У них возникла идея вынести проект Спитака одной из тем предстоящего европейского конкурса. Так, чтобы Спитак стал международной строительной площадкой. Необычно. Но, может быть, именно такой размах позволит новому Спитаку стать одновременно символом и памяти о трагедии, и торжества жизни. Это, конечно,



только идея. А в Армении уже разрабатываются проекты реальные.

**М. Е.:** — Опять желание доказать, что человек сильнее стихии. Сколько раз человек пытался вступить в противоборство с природой и был за это природой же наказан. Не надо доказывать, что ты — царь. Частица, но не более того. Человек, по-моему, должен глубоко познавать природу, и, исходя из этого знания, определять свою нишу, что ли. Это упрямство сопровождает человека на протяжении всей его истории. Память о жертвах трагедии на том месте, где был Спитак, обязательно должна быть увековечена. Пусть это будет тот же мемориал. Но никак не новый Спитак. Полностью согласен, что должны быть восстановлены Леникан, Кировакан. Города пострадали, но они живы. А Спитак... Для кого он будет строиться? Не думаю, что кто-нибудь из тех, кто остался в живых, захочет вернуться. Для них жизнь в Спитаке будет все равно, что жизнь на кладбище, в семейном склепе. Каково человеку каждое утро выходить на улицу и вспоминать: вот там стоял дом моего брата, а здесь жила семья друга... Город — это люди. Значит, Спитака больше нет.

**И. К.:** — Мне кажется, лучшим мемориалом Спитаку будет то, что там снова будут жить люди. Может быть, не те, что вернутся, а те, кто сочтет своим долгом возродить жизнь в Спитаке. Может быть, среди них будут те армяне, которые сейчас живут в других городах страны. На мой взгляд, было бы справедливо, если бы Спитак вобрал в себя все лучшее, что есть сегодня в градостроительстве.

**М. Е.** — Как бы красиво и современно ни был отстроен Спитак, кто бы ни приехал сюда жить, это все равно будет искусственный город. Таких примеров масса. Создавались, например, города вокруг больших предприятий. По большому счету они оставались городами-общежитиями. Чувство родины для их жителей размыто. Причем, не только для первых поколений, ведь родина — это не просто место, где ты родился, но и история.

**И. К.:** — Но ведь остались живы такие люди, как Норик Мурадян. За несколько недель до трагедии он стал первым секретарем райкома партии, а до этого работал генеральным директором швейного объединения. Спитак — это его город. Он делал все, что было в его силах, для Спитака и спитакцев. Дома, которые он строил, выстояли. От них поведет отсчет новый Спитак. Прекрасный очерк о Мурадяне я прочла в «Комсомольской правде».

М. Е.: — Мы встречались с десятками таких людей в Армении. Для каждого из них жизнь навсегда поделена теперь на «до» и «после» землетрясения. Каким оно будет, «после» тех, кому повезло? Шок проходит, память остается. Потеряв столько жизней, мы учимся больше ценить жизнь. Именно — мы, потому что это горе — не только армянского народа. Для нас жизнь тоже поделилась на «до» и «после». Наша общая жизнь.

## ХРОНИКА

### НОВЫЙ ФОНД РЕДКИХ ИЗДАНИЙ

В Государственном литературном музее имени Г. Леонидзе создается книжный фонд редких изданий, главным образом дореволюционного периода, а также рукописей грузинских поэтов и писателей.

После присоединения к музею части здания, в котором до этого находился Республиканский военкомат, появилась возможность приступить к сбору книг, рукописей и фотографий. Приобретен рукописный текст поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», выполненный неизвестным в первой половине XIX века, он хранился в семье видного грузинского ученого Павле Ингороква. Академик АН Грузинской ССР Вахтанг Беридзе передал в дар музею автограф Давида Клдиашвили и фрагмент его пьесы «Невзгоды Дариспана». В фонд музея поступили рукописи стихов и письма Иосифа Гришавили.

Отдел периодики пополнился грузинскими детскими журналами «Джеджили» и «Накадули» периода 1891—

1919 годов, подшивки которых хранились в семье исследователя грузинской литературы Анны Гвиниашвили.

Не так давно музей получил архив Иосифа Татишвили. В нем — очерки, переводы произведений армянских писателей на грузинский язык, а также множество фотографий, на которых запечатлены видные деятели культуры Грузии.

### К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИРОСМАНИ

В 1991 году исполняется 125 лет со дня рождения великого художника Нико Пиромани. В связи с этим создана республиканская юбилейная комиссия. Намечены следующие мероприятия: в Институте истории грузинского искусства имени Г. Чубинашвили будет организован лекторий, где каждый сможет получить ответы на вопросы о творчестве художника. Готовятся юбилейные издания, уже сданы в печать две монографии о творчестве Пиромани. Авторы этих трудов — академик Академии наук Грузии Вахтанг Беридзе и научный сотрудник института Георгий Хоштария.

Луарсаб ЯШВИЛИ

## Светлой памяти дирижера...

Каждое посещение мною симфонического концерта или оперного спектакля невольно и неизменно вызывает в моей душе память о человеке, который слишком много значил не только в моей жизни, но и в истории современного музыкального искусства.

Евгений Микеладзе — выдающийся художник XX века, неповторимый музыкант, дирижер: был наделен всеми теми достоинствами, которые и должны быть присущи большому мастеру: и глубочайшим знанием дирижерского искусства, и изумительной музыкальной памятью, и способностью глубокого проникновения в произведение, и собственным оригинальным его прочтением, и интересным раскрытием стиля, содержания.

Внешность его также немало способствовала успеху: это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, с красивым вдохновенным лицом, изящными пластичными руками.

В 1931 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу профессора Александра Гаука. Вместе с ним учились выдающиеся впоследствии дирижеры — Мусин, Рабинович, Мравинский, Мелик-Пашаев, Грикуров и другие. Среди названных дирижеров Гаук отводил Евгению Микеладзе особое место. Но особой оказалась и трагическая участь музыканта, лишённого жизни в возрасте 34 лет. Даже в пору студенчества он уже пользовался большим авторитетом в Ленинградской консерватории.

В 1932 году я приехал в Ленинград сдавать вступительные

экзамены в консерваторию и зашел к ректору, чтобы получить разрешение на их сдачу. Однако он заявил, что рекомендации Евгения Микеладзе вполне достаточно, поэтому экзаменовывать меня не будут и направил прямо к профессору. Согласно последнему послужило основанием для того, чтобы меня зачислили в Ленинградскую консерваторию.

В 1934 году Микеладзе приехал в Ленинград из Тбилиси, чтобы дать концерты вместе с симфоническим оркестром филармонии. В те дни мы все время были вместе — и на репетициях, и даже на стадионе — он был страстным футбольным болельщиком. Симфонический концерт в зале Ленинградской филармонии принес ему потрясающий успех: пламенную овацию устроили не только слушатели, но и оркестранты, подхватившие дирижера на руки, а взволнованный Лев Обрин, солировавший в тот вечер, обнял его и сказал: «Концерт Шопена я исполнял много раз. Но такого сопровождения не помню, ведь дирижера ценят по аккомпанементу. Солиста ничто не должно ограничивать. Каждое изменение темпа или нюансов произведения дирижер должен сразу же почувствовать и среагировать, чтобы солист ощутил полную свободу при исполнении того или иного произведения или фразы».

Такой же восторг выражали в Тбилиси и Москве все известные музыканты, которые выступали солистами на концертах Евгения Микеладзе: скрипачи М. Полякин, Г. Баринова, виолончелист Ал. Чиджавадзе, пианисты Я. Флиер, А. Вирсаладзе, композитор С. Прокофьев и другие.

Сергей Прокофьев в мае 1933 года приехал в Тбилиси, чтобы вместе с симфоническим оркестром исполнить свой 3-й концерт для фортепиано. В качестве дирижера ему предложили молодого Евгения Микеладзе. Прокофьев нахмурился — это имя было ему тогда незнакомо, да и дирижер еще не слушал его концерта. Но другого выхода не было. При переполненном зале Микеладзе наизусть продирижировал концертом Прокофьева и сделал это так мастерски, что композитор тут же на сцене расцеловал дирижера. Интересно, что, исполняя свой концерт, Прокофьев допустил небольшую ошибку (перескочил через несколько тактов), но Микеладзе мгновенно всем оркестром взял то место, да еще так, что для автора, тем более для слушателей ошибка прошла совершенно незамеченной, а ведь в этом случае и опытный дирижер мог бы растеряться.

Несмотря на то, что Евгений Микеладзе как профессиональный дирижер держал в руках дирижерскую палочку всего 5—6 лет, он необычайно много успел сделать, причем на

уровне, достойном большого художника. Приезжавшие в Тбилиси дирижеры и солисты международного класса высоко ценили его творчество.

Помню, на спектакле «Отелло» Верди в нашем оперном театре присутствовали известные немецкие дирижеры Ф. Штидр и О. Фрид. Они были свидетелями того, как Евгений Микеладзе вел наизусть такую сложную оперу, и дали очень высокую оценку как оркестру и певцам, так и их художественному руководителю и дирижеру. Ф. Штидр подарил Микеладзе свою фотокарточку с надписью: «Моему молодому коллеге, талантливейшему дирижеру Советского Союза». Известные советские музыканты С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Гаук, Л. Оборин высоко ценили дирижерское искусство Микеладзе. Д. Шостакович считал его человеком величайшего таланта, отмечал высочайший уровень его дирижерского искусства, общей и музыкальной культуры, называл его «гордостью советской дирижерской школы».

Думаю, Евгений Микеладзе сам ощущал в себе огромную творческую потенцию, верил в свои огромные организационные возможности, большую волю и энергию. Он постоянно приглашал дирижировать симфоническим оркестром в Тбилиси таких знаменитых мастеров, какими были Ф. Штидр, О. Фрид, Д. Дефо, Г. Унгер, С. Себастьян, Сенкар, Брайзах, А. Гаук, А. Мелик-Пашаев и другие. К сожалению, не многие рискуют приглашать на гастроли выдающихся дирижеров, чтобы не выглядеть на их фоне не столь ярко.

Сейчас я невольно думаю — если бы по окончании Ленинградской консерватории Евгений Микеладзе остался работать там, быть может, гроза 1937 года прошла бы для него стороной...

Осенью 1931 года, закончив Ленинградскую консерваторию, он начинает работать дирижером в оперном театре имени Захария Палиашвили. А в 1934 году после кончины известного дирижера Иванэ Палиашвили его назначают главным дирижером. С большим старанием и энергией приступает дирижер к работе с симфоническим оркестром и его реорганизации. Он руководит также симфоническим оркестром студентов консерватории и очень скоро дает прекрасный концерт, в котором и солисты — студенты.

Евгений Микеладзе был также педагогом дирижерского класса. Из его учеников назову в первую очередь Дидима Мирцхулава, Джемала Гокиели, Михаила Бухбиндера, Александра Насидзе... Кроме того, он всегда оказывал молодым музыкан-

там большую помощь в формировании различных ансамблей, посещал концерты молодых исполнителей, давал им советы, наставлял их.

После окончания исполнительской (оркестровая кафедра) аспирантуры Ленинградской консерватории в 1935 году я стал педагогом Тбилисской консерватории, а как альтист-исполнитель продолжил работу в Государственном квартете Грузии и параллельно — концертмейстером в симфоническом оркестре под руководством Микеладзе. Именно здесь в 1935—1937 годах мы особенно сблизились. Я, как младший друг и поклонник его большого таланта, считал для себя великим счастьем работать с ним.

В процессе работы с музыкантами как симфонического оркестра, так и государственного квартета не возникало никаких недоразумений, конфликтов. Замечания дирижера были всегда обоснованы, убедительны, и если кому-нибудь не удавались какая-либо фраза или технически трудные места, Евгений Микеладзе назначал ему отдельные занятия. Неудивительно, что по его инициативе и при непосредственном участии в 1936 году в оперном театре состоялась детская олимпиада.

Он был увлечен и спортом. Мне часто приходилось бывать в спортивном обществе «Шевардени» («Сокол»), где я наблюдал, с каким азартом дирижер упражнялся на разных снарядах, например, на коне, и выполнял технически сложные элементы.

А сейчас я хочу рассказать об его огромной работе по проведению в Москве в 1937 году Декады искусства Грузии, в частности музыкального. К Декаде готовили оперы З. Палиашвили «Абесалом и Этери» и «Даиси» (руководитель Евгений Микеладзе), «Коварная Дареджан» Мелитона Баланчивадзе (дирижер Ш. Азмаипарашвили), «Кето и Котэ» В. Долидзе (дирижер Ш. Азмаипарашвили), балет Андрея Баланчивадзе «Сердце гор» (в постановке и при участии В. Чабукиани под руководством дирижера Евгения Микеладзе). К сожалению, перед отъездом в Москву «Сердце гор» почему-то сняли.

Я уже отмечал, с какими энтузиазмом, энергией и любовью приступил Евгений Микеладзе к формированию в Грузии симфонического оркестра, его реорганизации, правильно избрав направление к его постепенному усовершенствованию вплоть до очень высокой ступени развития. Интересно, что в этот период любители музыки с большим удовольствием посещали концерты симфонического оркестра. Симфонические концерты имели огромное значение для музыкального просвеще-

ния, принявшего в ту пору небывалый размах, породив у молодежи горячее увлечение классической музыкой.

Музыкальная общественность высоко ценила и оперные спектакли, поставленные Микеладзе. Можно смело сказать, что его могучая и многогранная деятельность, измеряемая всего 5—6 годами, серьезно повлияла на развитие у нашей музыкальной общественности вкуса, способности воспринять, оценить, понять, отличить хорошее от плохого. При непосредственном участии Микеладзе исполнялись оперы самых различных эпох и стилей: «Данси» и «Абесалом и Этери» З. Палиашвили, «Кармен» Бизе, «Риголетто» и «Отелло» Верди, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Тоска» Пуччини, «Свадьба Фигаро» Россини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Царская невеста» Римского-Корсакова...

С целью усиления оркестра Микеладзе пригласил работать и нас, членов государственного квартета. Я часто был свидетелем того, как он занимался с каждым инструменталистом, хором или отдельным певцом-солистом.

Никогда не забуду его занятия с нами, участниками квартета, и лично со мной как исполнителем большой сольной (11-й) части квартета Шалвы Тактакишвили, и какой результативной была эта работа. Он говорил мне — представь себе дудукиста на рассвете после застолья, затянувшего бередящую душу мелодию; твой альт должен издать такой же глубокий и в то же время бархатный, красивый, певучий звук. Я постарался добиться, чтобы мое исполнение удовлетворило Евгения, и в Москве он включил выступление нашего квартета в программу заключительного концерта.

Перед отъездом наших музыкальных коллективов в Москву на Декаду в оперном театре имени З. Палиашвили состоялись генеральные репетиции с приглашением на спектакли тбилисской общественности. Показ завершался оперой «Абесалом и Этери».

Переполненный зал, затаив дыхание, с восторгом слушал непревзойденное исполнение вступительной части, дуэт Абесалом и Мурмана — наших знаменитых певцов Д. Андгуладзе и П. Амиранашвили, потом же взорвался несмолкаемыми овациями. Берия, сидевший в правительственной ложе, обращенной прямо к оркестровой яме, подался вперед и аплодисментами потребовал повторения дуэта.

В этот момент Евгений (я сидел в оркестре с инструментом справа от дирижера) подмигнул мне и тихо, но так, чтобы

я услышал, произнес: «Я здесь хозяин». Дуэт повторен не был, спектакль продолжался.

В перерыве он обосновал свое решение, которое было совершенно справедливым: «Если бы я повторил дуэт, прервалось бы действие; утрачена была бы цельность восприятия — это ведь не ария герцога, которую певца обычно заставляют повторять три-четыре раза».

С ним нельзя было не согласиться — нарушая цельность или темп спектакля, снизился бы успех от восприятия оперы. Но, к несчастью, этот эпизод привел Берия в ярость. Евгению Микеладзе как вдохновителю всей Декады надлежало бы быть в центре событий, но он был совершенно незаметен и одинок как во время спектаклей, так и на правительственном банкете в Кремле. Вернувшись из Москвы победителями, никто из нас не испытывал чувства удовлетворения.

В последние дни я встречал Женю, который пребывал в ужасном настроении. Мы вообще не видели на улицах города радостных и довольных лиц. Общая атмосфера была очень напряженная. Люди были подавлены и угнетены. Как-то я встретил его возле оперы; обменявшись со мной общими фразами, он простился и вошел в театр, чтобы на заседании художественного Совета сделать доклад об итогах завершившейся Декады и определить новые планы. Евгений еще выступал, когда в кабинет вошел секретарь парткома П. Шапошников и доложил: «Евгений Семенович! Вас ждут!». «Пусть подождут!» — ответил Микеладзе. Шапошников вошел снова и сказал уже более настоятельно: «Они не собираются ждать!» и подал Евгению макинтош. Микеладзе побледнел, прервал выступление и вышел из кабинета. Он не вернулся...

Так мы потеряли выдающуюся личность, чей неповторимый талант и неукротимая энергия сделали имя его легендарным.

Достойна всяческой похвалы инициатива наших прославленных певцов Маквалы Касрашвили и Зураба Соткилава, организовавших в Кутаиси фестиваль имени Евгения Микеладзе, вызвавший самый одобрительный отклик у грузинской общественности. Думаю, присвоение имени Евгения Микеладзе симфоническому оркестру филармонии, им основанному и организованному, было бы достойно этой замечательной фигуры, как и создание серьезной книги о его неповторимом таланте, блестящем дирижерском искусстве, его трагической судьбе.





## Мысли, навеянные подаренной книгой

1958 год. В Москве триумфально проходит Декада грузинского искусства и литературы. Десять дней восторженных аплодисментов в самых различных зрительных залах. Заветной мечтой москвичей в эти дни стала возможность попасть в Большой театр на балет Алекси Мачавариани «Отелло» с Вахтангом Чабукиани. А в драматическом театре состязались три совершенно разных исполнителя роли Эдипа — Акакий Хорава, Эроси Манджгаладзе и Серго Закариадзе, вызывая безудержное восхищение зрителей. В фойе Центрального Дома литераторов фоторепортеры подстерегали Шалву Дадияни, Галактиона Табидзе, Константину Гамсахурдиа, Георгия Леонидзе, Лео Киачели, Симона Чиковани... Переполненный зал, где проходила писательская конференция, затаив дыхание, слушал стихи грузинских поэтов в переводе на русский язык. По-особому горячую реакцию вызвали имена Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Михаила Джавахишвили, впервые громко упоминавшиеся после двадцатилетнего вынужденного молчания. Делились воспоминаниями их личные друзья Николай Тихонов, Павел Антокольский, Леонид Леонов, Константин Федин, Вера Инбер, Алексей Сурков... В их глазах сверкали слезы. Павел Антокольский, читая стихи Тициана Табидзе и Паоло Яшвили, сказал о том, что прочность дружбы, братство русских и грузинских поэтов крепили и ковали, как никто другой, эти два могучих грузинских богатыря. И этот мост дружбы поэтов, этот союз так же несокрушим, как Эльбрус...

В дни Декады грузинские писатели разбились на бригады, встречаясь с рабочими московских заводов и фабрик, с колхозниками пригородных хозяйств. Одна из бригад, которой я руководил, поехала на родину Сергея Есенина в село Константиново.

Константиново — одна из красивейших русских деревень, типичных для Рязанской области. Здесь в 1895 году родился Сергей Александрович Есенин, здесь провел свое детство. С

1913 года он жил в Москве, а в 1915 году переехал в Петроград, но аромат родных мест всегда жил в его поэтической душе, не исчезая, не растворяясь вдали от родной деревни. В своей поэтической исповеди он часто обращался к любимым местам, к матери, сестре Александре.

Водитель остановил наш автобус прямо у дома Есениных. Встречала нас сестра Есенина Александра Александровна. С первых же слов ее приветствия, с которым она к нам обратилась, мы слышали о том, как брат ее нежно любил Грузию, даже до того, как побывал там. Он с восторгом читал «Витязя в тигровой шкуре», и Грузия виделась ему сказочным краем. Здесь мне хочется объяснить этот феномен словами Тициана Табидзе: «...аналогия эта имеет национальную основу — в Грузии поэзия изначально определяла ее бытие, и потому за ней утвердилось и другое название — страна Руставели». 1926 год, «День Поэзии».) Читая «Витязя в тигровой шкуре», Сергей Есенин возбужденно говорил: буду непременно и очень скоро буду гостем Руставели в Грузии. Но в те годы ему помешала гражданская война. При первой же возможности он сразу отправился на Кавказ и в Грузию.

Александра Александровна пригласила нас в старый каменный выбеленный дом, где и поведала историю семьи Есениных, вспоминала детские годы брата, проведенные в этом доме. В неприязнительной обстановке дома бережно хранятся мемориальные вещи — небольшой книжный шкаф, письменный стол... Открыв шкаф, Александра Александровна достала оттуда принадлежавшую Есенину книгу «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Константина Бальмонта, 1917 года издания. На титуле рукой Есенина сделана надпись: «Сергей Есенин. 1917 год. Май». Эту книгу Александра Александровна подарила нам.

Сейчас этот бесценный подарок хранится в кабинете литературы имени Г. Табидзе Тбилисского государственного университета.

В ту пору есенинский отчий дом еще не был объявлен государственным домом-музеем. Но все здесь было согрето безмерной любовью к брату и его поэзии со стороны Александры Александровны, которая ухаживала за домом, садом, свято храня каждую вещь, оставшуюся от брата, предков. Мы сразу оценили всю уникальность такого дара, мне он показался символическим выражением нежной любви Есенина к Грузии... (Александра Есенина скончалась в 1981 году в возрасте 71 года).

Эта небольшая (полный перевод «Витязя в тигровой шкуре» К. Бальмонт издал в Париже только в 1933 году) затертая и зачитанная книга породила во мне множество чувств. Ду- малось о величии «Витязя» — гениальности и бессмертии его автора — Руставели. О том, что с помощью талантливого перевода Константина Бальмонта «Витязя в тигровой шкуре» наш великий предок Шота Руставели «пригласил» в Грузию Сергея Есенина так же, как и самого переводчика «Витязя» замечательного русского поэта Константина Бальмонта. Благодаря этому переводу «Витязь» шагнул за границы своей родины, поведал миру о Грузии, стране с героическим историческим прошлым. Самому же Бальмонту поэма Руставели, толкнувшая его на поэтический подвиг, принесла неувядаемую славу. Галактион Табидзе сказал об этом: «Звучание «перепевов, грозы, нежности» поэтического слова Бальмонта чудесно послужило мировой поэзии переводом «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели».

Одним из тех, кто вдохновил Бальмонта, подвигнул его на это великое дело и проявил радушие гостеприимного хозяина в Грузии, был Паоло Яшвили. Вот как об этом рассказывает сам Паоло Яшвили:

«Нет такого народа, который как единый цельный организм не привлекал бы к своей судьбе столько заинтересованного сочувственного внимания к страницам своей истории, полных животрепещущих злоключений, как грузинский народ.

У нашей страны столько друзей, сколько, возможно, не имеет ни одна маленькая нация. Внешняя красота нашей страны, древнейшие своеобразные обычаи народа и много других добрых свойств наших людей привлекает и превращает в наших друзей многих чужеземцев, и я очень рад, что мне представился случай познакомить читателя с одним из них.

Константин Бальмонт, выдающийся русский поэт, с большой любовью и восхищением относится к нашей стране; кроме красоты Грузии и характерных черт грузинского народа, Бальмонта интересуют наши язык и поэзия. Случайно благодаря Оливеру Уордропу он прочел английский перевод «Витязя в тигровой шкуре» и так увлекся бессмертной поэмой, что решил перевести ее на русский язык. С этой целью он собирается приехать в Грузию, изучить язык и, рассчитывая на помощь знающих лиц, сделать перевод. Эту зиму Бальмонт провел в Париже, и мне выпал случай часто встречаться с ним. Грузинский язык произвел на него и его близких большое впечатление. Когда мы только познакомились, Бальмонт ничего не ска-

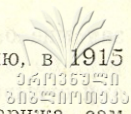
зал мне о том, что хочет перевести «Витязя в тигровой шкуре», но в дальнейшем, когда по его же просьбе я прочитал ему отрывки из поэмы и перевел с грузинского несколько слов, которые он выбрал сам, поэт восторженно произнес в присутствии многих гостей: «Много стран я повидал, даже такие, где люди еще пребывают в первобытном состоянии, а в Грузии, которая находится так близко и которую я с юности любил и люблю, еще не был; наверное, какая-то сила нарочно меня удерживала, чтобы после всех виденных красот я увидел бы край, красота которого, люди и великий Руставели стали бы прекрасным завершением сладкого сна». Какими глазами смотрел Бальмонт на Грузию, видно из следующей надписи на одной из книг, которую он подарил: «В дар от того, кто любит пленительную жемчужину Кавказа, цветущую Грузию».

Когда я сказал Бальмонту, что его знают у нас и стихи его переводятся на грузинский язык, он заставил меня поверить, что для него увидеть Грузию будет блаженнейшим переживанием. «Вы не представляете, — сказал он мне однажды, — с каким благоговением жду я той минуты, когда впервые увижу вашу родину».

В один из дней, когда я пришел к К. Бальмонту, его супруга сказала мне: «Все думы Бальмонта, да и наши, сейчас полностью устремлены к Грузии. Он уже решил ехать в Грузию, но у меня и дочери сердце разрывается от того, что таким внезапным решением он не дал нам возможности последовать за ним». Бальмонт и в самом деле восторженно сказал мне, что очень скоро он поедет в Грузию.

В Тбилиси Бальмонт будет примерно 14 апреля. Здесь он прочтет очень интересную лекцию, поделится со слушателями впечатлениями, собранными во время путешествия по «Океании» — Полинезии. В Тбилиси он завершил свое лекционное турне по большим городам России. Наш город специально был выбран им напоследок, чтобы получить возможность подольше здесь остаться, хотя пока он может побыть в Тбилиси лишь несколько дней. Для изучения языка и работы над переводом «Витязя в тигровой шкуре» он вернется позднее. Нет сомнения — грузинская общественность с присущим ей гостеприимством встретит друга нашей страны и не развеет того прекрасного представления, с которым он едет к нам, пользуемся случаем и посылаем «Теми» переводы нескольких стихов Бальмонта.

Париж, апреля 6, 1914».



В 1914 году Бальмонт впервые посетил Грузию, в 1915 — во второй раз, а в третий — в 1917 году.

В 1915 году Паоло Яшвили, вернувшись из Парижа, сам принимал Бальмонта как радушный хозяин.

5 октября 1915 года родоначальник русских символистов прибыл в Кутаиси, где был встречен с поистине грузинским размахом. Режиссером и дирижером этих встреч был Паоло Яшвили. Сначала его приветствовали на станции Риони, затем на заполненной до отказа людьми площади Кутаисского вокзала со словами приветствия к нему обратились Шалва Дадиани, Галактион Табидзе и Валериан Гаприндашвили. После осмотра Кутаиси и Гелати состоялся большой банкет. Здесь к Бальмонту с торжественными словами обратились Кита Абашидзе и Паоло Яшвили. Целую страницу Бальмонту посвятила газета «Мегобари», опубликовавшая речи К. Абашидзе и П. Яшвили. К сожалению, эта блестящая речь П. Яшвили не вошла в его однотомник. В нескольких номерах подряд газета «Мегобари» помещала переводы Паоло Яшвили стихов Бальмонта с его портретом и обширную статью о нем. Преисполненный впечатлений от гостеприимства, любви, братских чувств к Грузии вернулся Бальмонт на родину и прочитал в городах России в 1915—1917 гг. несколько лекций о Руставели и ознакомил слушателей с отрывками поэмы в своем переводе. Он опубликовал в русской прессе статьи «Шота Руставели и другие гении мира, как певцы любви», «Руставели» и др. Думается, эти лекции слушал Сергей Есенин в Москве или Петрограде, а когда в 1917 году в Москве вышел в свет бальмонтавский перевод «Витязя в тигровой шкуре», тотчас же приобрел его. Благодаря «Витязю» и предпосланным этому первому русскому изданию статьям Есенин проникся любовью к Грузии и поехал туда. Грузия широко распахнула двери перед талантливейшим русским поэтом. С момента приезда Сергея Есенина Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Георгий Леонидзе, Валериан Гаприндашвили стали его побратимами и объездили с ним всю Грузию. Руставелевская Грузия, дружба с грузинскими советскими поэтами стали новым импульсом для поэтического вдохновения Есенина. За время пребывания в Грузии он создал лучшие образцы своих поэтических творений. А некоторые из них, например, «Поэтам Грузии», несут в себе глубочайшую искреннюю любовь и уважение к Грузии и грузинским поэтам.

Вся советская страна горько переживала трагическую

смерть Сергея Есенина. На его кончину широко откликнулась грузинская пресса. Журнал «Мерцхали» («Ласточка») — ежемесячник Ассоциации пролетарских писателей Грузии, за декабрь 1925 года и январь 1926 года посвятил Есенину специальное литературное приложение в виде стихов и статей. В одной из статей читаем: «...Литературная Москва воздала соответствующие почести безвременно погибшему поэту. В лице Сергея Есенина современная литература потеряла одного из замечательных своих представителей. Есенин не был пролетарским поэтом. Есенин поэт крестьянский. Но прежде всего мы потеряли великого художника, талантливое поэта своей эпохи».

Тициан Табидзе очень остро переживал гибель друга и написал замечательное стихотворение «Сергею Есенину», которое считаю необходимым привести полностью:

Был необъезженным, как жеребенок,  
как Чагатар, в крови был весь.  
Я очень жалею, что в мир погребенных  
сопровождает тебя моя песнь.  
Шла за тобою тоска степная,  
шла — к ущелью Дарьяла пришла.  
Душу встретит душа живая,  
слезы хлынут — нет им числа.  
Разве в спасение сердца не верил?  
Разве о жизни не думал всегда?  
Кто нас утешит в этой потере?!  
Кто же нам смочет краску стыда?!  
Стихи твои — рваная рана,  
горенье, боль, воспаленной души непокой.  
Самоубийство — увы! не спасенье,  
кровь приобщается к крови другой...  
Пьяный Паоло варил на рассвете  
кепку свою в прокопченном котле.  
Мороза стегали нас хлесткие плети,  
и вестью о смерти клонило к земле.  
Плачет в душе твой завет сокровенный:  
помнить твой случай на пире судеб.  
В красном вине ты разбухнешь мгновенно,  
комом кровавым размокнешь, как хлеб.  
Верю в родство наше, вспомнить посмею:  
монгольская кровь у обоих у нас.  
Душу убили, а тело — за нею,

тело доби́ли мерзавцы́ тотчас.  
Случилось, как нам, страдать Амирану:  
впились ему в ребра когти́ беды...  
Выпить нам яду, как миро, желанно,  
Первым сказал ты аллаверды.  
Ночью мы были у Чопурашвили.  
Вспомнив тебя, надрывался орган.  
Брату не скажешь о горестной были,  
о горечи незарубцованных ран.  
Это тяжелое потрясенье. А еще тяжелей,  
что дитя мечты, юный красавец Сергей Есенин,  
эту клятву не слышишь ты.  
Если в преддверьи иного света  
голова́ наши от нас отлетят,  
пусть узнают: среди поэтов  
был нам Есенин и друг и брат.

28 февраля 1926 г.

(Перевод Льва ОЗЕРОВА).

Этот поэтический отзвук Тициана Табидзе выражал чувства всей грузинской общественности.

Безвременно погибший поэт не только воспел свою бескрайнюю любовь к Грузии в стихах, но и оставил светлый след этой любви в родной семье. Свидетельством тому — подаренный нам, посланцам из Грузии, его сестрой экземпляр «Витязя в тигровой шкуре» с собственноручной надписью поэта: «Сергей Есенин. 1917 год, май».

---

## ХРОНИКА

---

### ТЕАТР ПОЭЗИИ

На афише Театра поэзии — новый спектакль «Любимое произведение», который будет показан зрителям на сцене Дома актера имени А. Хорава (художественный руководитель театра — Михаил Кинцурашвили). В исполнении молодых талантливых актеров Мурмана Джинория, Рамаза Иоселиани, Маринэ Кахиани,

Натии Кавсадзе, Цицино Кобиашвили и других прозвучат произведения Важа Пшавела, Галактиона Табидзе, проза Михаила Джавахишвили, Григола Робакидзе, Константинэ Гамсахурдиа, стихи Мухрана Мачавариани, Мурмана Лебанидзе, Мориса Поцхишвили, Джансуга Чарквиани, Резо Амашукели... В спектакле примет участие молодая певица Эка Мамаладзе.

Гулбат ТОРАДЗЕ

## РОЖДЕННАЯ ДЛЯ СКРИПКИ

**И**мя этого замечательного музыканта для любителей музыки надделено поистине магической силой. Оно тотчас рождает представление о высоком, вдохновенном искусстве.

Тот, кто хоть раз видел на концертной эстраде Лиану Исакадзе, слушал ее игру на скрипке, навсегда остается восторженным почитателем таланта этого выдающегося мастера скрипичного искусства, успешно выступающего и в новом амплу дирижера.

Ореол вдохновенного музыканта и блистательного виртуоза окружал Лиану с самого начала ее исключительного по своей интенсивности творческого развития.

...Вот 10-летней девочкой с живыми черными глазами и большим белым бантом она с поразительной для своего возраста серьезностью и вдохновением играет концерт Мендельсона, с очаровательной непосредственностью ребенка обращаясь в перерыве между частями за помощью для настройки инструмента к своему педагогу профессору Лео Николаевичу Шиукашвили.

Через год (1958) Лиана — самая юная участница Декады грузинской литературы и искусства в Москве, где покоряет сердца взыскательной московской публики, а вскоре после этого — во время дней грузинской культуры в Польше — выдавших виды варшавских меломанов.

На Закавказском конкурсе музыкантов-исполнителей (1960) ей пришлось играть вне конкурса, ибо она оказалась слишком юной для участия в официальных соревнованиях, но ее по праву признали негласной победительницей. И вот — первый бле-



стоящий всесоюзный успех. На Московском конкурсе весной 1961 года 14-летняя скрипачка завоевывает вторую премию «побив рекорд» почти 25-летней давности Б. Гольдштейна.

Стало ясно, что Л. Исакадзе обещает вырасти в «музыкальную звезду» первой величины.

В рецензии на один из ее концертов той поры автор этих строк писал: «Игра Л. Исакадзе с первых же звуков чарует и увлекает исключительной непосредственностью, врожденным артистизмом. Горячая, неумемная любовь к своему искусству, к музыке составляет самую яркую характерную черту ее исполнения и, можно сказать, всей ее натуры, и именно она сообщает игре скрипачки ту «искру», без которой немислимо подлинно большое вдохновенное искусство. Тот, кто слушал, как играет Л. Исакадзе «Меланхолическую серенаду» Чайковского и «Испанский танец» де-Фалья, согласится, что так играть невозможно научиться...»

Продолжать учебу, однако, было необходимо, и в 1963 году Лиана поступает в Московскую консерваторию в класс прославленного музыканта, лидера советской скрипичной школы профессора Д. Ойстраха, а затем проходит у него же курс аспирантуры. Это были годы широкого международного признания таланта молодой скрипачки.

«Первой ласточкой» явилась блестящая победа (1 премия) на Международном конкурсе имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже в 1968 году, за которой последовали гастроли во многих европейских странах, в Мексике, Японии. В 1970 году Лиана с больной рукой была лишь «третьей» на конкурсе имени Чайковского в Москве, но «реваншировалась» победой на конкурсе имени Сибелиуса в Хельсинки в том же году.

По мнению Д. Ойстраха, «в исполнительской манере Исакадзе покоряет прежде всего огромная искренность». «Слушая ее, — утверждает он, — всякий раз оказываешься под неотразимым впечатлением радостного мироощущения, погружаешься в мир человеческого обаяния. Она — одно целое с инструментом. Она рождена для скрипки, для поэзии».

Каждое выступление Исакадзе-скрипачки превращается в украшение концертного сезона, в подлинный праздник музыкального искусства. За прошедшие годы она переиграла практически весь скрипичный репертуар. Даже и не знаешь, чему отдать предпочтение: Бах и Вивальди, Гайдн, Моцарт и Бетховен, Мендельсон и Брамс, Чайковский и Глазунов, Прокофьев и Шостакович, Мачавариани и Тактакишвили. Их скрипичные концерты находят в ее лице блистательного вдохновенного ин-

терпретатора. Несколько лет назад Лиана вновь поразила многогранностью и масштабностью своего дарования, впервые в Советском Союзе исполнив скрипичный концерт Шенберга.

Поистине чудовищные художественные и технические трудности этого произведения были преодолены скрипачкой с завидной свободой и артистизмом. Знаменательно, что это произведение в мире исполнялось всего несколько раз. Композитор, подтрунивая над исполнителями, писал: «Если кто-то не сможет играть, я подожду, пока у скрипачей удлинится мизинец...». Лиана сыграла концерт блестяще.

Казалось бы, все «Эвересты» скрипичного искусства покорены, и уже трудно ждать от артистки новых художественных открытий, но шесть лет назад она вновь удивила музыкальный мир, приняв решение взять в руки дирижерскую палочку (говорю об этом фигурально, ибо на самом деле она дирижирует без палочки).

Осенью 1981 года Лиана Исакадзе стала художественным руководителем и дирижером Государственного камерного оркестра Грузии, чаруя нас новыми сверкающими гранями своего таланта. Пожалуй, ни одно событие музыкальной жизни Тбилиси за последние годы не вызывало такого повышенного интереса и горячего отклика, как концерты Камерного оркестра под ее руководством.

Художественная содержательность, высокая эстетическая «проба» отличали уже первый концерт, буквально ошеломивший слушателей.

Поражала необычайная естественность и непринужденность смены творческого амплуа. Нельзя было не заметить и того, какой удивительный сдвиг произошел в самом оркестре, который из хорошо сыгранного и бесспорно культурного ансамбля вдруг, словно по мановению волшебной палочки, преобразился в первоклассный коллектив, соответствующий мировым исполнительским стандартам. Подтверждением тому служат и многочисленные восторженные отклики на зарубежные гастроли оркестра.

Зарубежная пресса называла Лиану «Паганини в юбке», восхищалась творческими возможностями ее камерного оркестра. Приведу в качестве примера слова шведского дирижера Свена Гунара Андрена: «Я счастлив, что вижу Лиану Исакадзе не одну, как исполнительницу, а с оркестром, с лучшим оркестром, который я когда-нибудь слушал. Она показала себя как профессиональный, совершенный дирижер. Значит,

есть резерв у женщин, которые могут стать выдающимися дирижерами...».

Одним из важных факторов столь необычного успеха грузинского камерного оркестра несомненно служит то обстоятельство, что программы концертов неизменно, хотя бы частично, состоят из малознакомых или вообще неизвестных широкой публике (между тем выдающихся по своим художественным достоинствам) произведений, впервые исполняемых в Тбилиси, а то и в Советском Союзе. Конечно же, все это во многом усиливает художественно-познавательное значение концертов, стимулирует интерес к ним. Сошлюсь хотя бы на пример гениальных «Восточных картин» Шумана (в переложении), явившихся подлинным откровением даже для искушенных слушателей и вызвавших бурю восторга всего зала. Кстати, здесь Л. Исакадзе совмещала амплуа солиста-скрипача и дирижера.

Ее искусство дирижера — все та же врожденная сверхмузыкальность, артистизм высшего плана, какая-то особенная «исакадзевская» благородная эмоциональность. А оркестр, ведомый вдохновенной рукой своего руководителя, играет так, что у слушателей захватывает дух...

Л. Исакадзе, проявила себя, как всегда ярко и талантливо, еще в одной, третьей инстансии, являясь организатором и вдохновителем всесоюзных фестивалей камерной музыки в Пицунде «Ночные серенады». Там в древнем храме встречаются лучшие музыканты страны, зарубежные мастера, видные композиторы. Они совершенствуют свое мастерство, пропагандируют классику, открывают новые миры музыки. Недавно Государственный камерный оркестр Грузии и Лиана Исакадзе вернулись на родину из многодневного и ответственного турне по Америке. Весь путь от Чикаго до Лос-Анджелеса грузинских артистов сопровождали аплодисменты и горячая признательность публики. Пресса США отмечала яркий талант народной артистки Грузинской ССР Лианы Исакадзе, которой недавно было присвоено высокое звание народной артистки СССР, высокий уровень мастерства оркестра, «обладающего секретом в музыкальном мире». Думается, этот секрет творчества — любовь к музыке, которым грузинские музыканты щедро делились со слушателями.

Закончить эти штрихи к портрету музыканта хотелось бы аналогией, заимствованной из спорта. Если бы в музыкальном исполнительском искусстве было принято составлять квалификационные списки (рейтинги), то этот список, несомненно, открыла бы замечательная грузинская скрипачка и дирижер — Лиана Исакадзе, человек, посвятивший музыке жизнь, действительно рожденный для скрипки и поэзии.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТИХУ

**УШАНГИ** Рижинашвили известен как серьезный прозаик, автор отмеченных литературными премиями книг.

Но начинал он как поэт, и первыми его книгами были поэтические сборники. Многие прозаики начинали путь в литературу как поэты, но очень немногие впоследствии вновь возвращались к стиху. Один из немногих, Илья Эренбург, писал, что возвращался к поэтическому творчеству в переломные моменты жизни страны, мира, своей жизни. Если так, то название вышедшего в Москве в издательстве «Советский писатель» сборника стихов Ушанги Рижинашвили «Пришло мое время» символично: время, которое ныне пришло — время гражданственности, время активной позиции простого человека, время поисков, проб и трудных находок.

Поколению, к которому принадлежит автор книги, тем, чья юность пришла на шестидесятые, история вдруг предоставила шанс сказать выстраданное в безвременье слово, внести вклад в перестройку сознания общества. Для них самое главное — не стать «поколением опоздавших». Поэтому спешат журналисты, и, наперное, поэтому берется за стихи прозаик. В стихотворении, открывающем сборник, отражая это «нетерпение сердца», на одном дыхании, когда не до знаков препинания, поэт говорит:

...костры уж не греют  
и гонки на скорость  
по вертикали  
меня не закружат  
прошло мое время  
пришло мое время  
лозу подрезать  
и завязь лелеять

мой голубь, мой Грени  
гроза и слеза  
вдали забелеет  
пришло мое время!



Возвращение прозаика к стиху, даже только «для себя», как это было у Эренбурга — трудное возвращение, возвращение с поэтическим словом к читателю — труднее вдвойне. Нужно мужество преодоления комплексов, накопившихся за годы отрыва от стихотворчества, одрябления мускулов стихотворной техники, требующих, как и любые мускулы, каждодневной тренировки. Но там, где дело касается поэзии, всегда есть место чудесному: к читателю вернулся новый поэт, более уверенный в себе, творящий в им самим очерченном поэтическом пространстве.

Стихи, вошедшие в книгу, имеют корни в марткопской земле, в кутаисских улицах и мостах, в тбилисских домах, «блокированных балконами», даже в прозрениях средневекового бродяги Франсуа Вийона, но почти не имеют корней в современной отечественной литературной традиции.

Конечно, интонация стихотворения

Когда я плакал в последний раз,  
Не вспомнить никак, хоть убей,  
Быть может, когда освенцимский газ  
Душил в душегубках детей?

А может, когда наш калека сосед  
«Победа!» — орал на весь двор...  
Я стал, как сосед мой, и стар, и сед,  
Но не плакал с тех пор.

сродни интонации Ю. Левитанского. В стихотворении «Пешки» искушенный читатель может уловить отзвуки голосов Б. Слуцкого, И. Сельвинского. Но не эти стихи определяют лицо книги, проникнутой тревогой за будущее и верой в него

Город  
пошел  
в наступленье,  
Отступают поля,  
в нступленье...

Прорываются к своим.

Их калечат

и топчут,

Травят голодом,

Валят во рвы,

Но на крыше

двадцатизэтажной

башни

В самом

центре

города

Я видел

десант

травы...

Поэт часто говорит о детстве. Это уже цитировавшееся стихотворение «Когда я плакал в последний раз...», это прекрасные стихи «Я всегда не помню...», «Этот город...». Но он тут же насмешливо одергивает себя:

В детство бегут поэты и неудачники...

Чуть затоскуешь — и память услужливо врет,

Что в детстве живут, как в летнюю пору на даче,

А дачник, вестимо, весьма беззаботный народ.

Задачку решить — ответы в конце задачника,

В чистописании ясно, каков и куда наклон...

В детство бегут поэты и неудачники:

— Эй, осторожней, чтоб солнцем голову не напекло!

Чего бы это ни стоило, поэт хочет стоять на твердой и жесткой земле, где все далеко еще не так, как хотелось бы. И вот итог этого ностальгического цикла:

Тот дом, где я родился,

Стал так стар,

Тот двор, где я резвился,

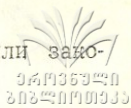
Стал так мал,

Орех, державший небо,

Расти устал...

Трудно понять творчество Ушанги Рижинашвили без стихов о «малой» духовной родине поэта — Марткопи. Читатель словно попадает в стихию местных деревенских тропи-

ность будущего, современный автор У. Рижинашвили за-  
номерно возвращается к своим истокам:



Предки мои  
не там —  
Под плитами  
и надгробьями.  
Они — во мне.  
И суть моя  
Подвластна их зову...

В маленькой кахетинской деревне старики без риторики и наставлений учат мудрости на все времена.

Марткопские старики  
На немощь свою не сетуют,  
Прошлым глаза не колют,  
Нынешнее не бранят,  
Секаторами и мотыгами  
Орудуют неспоро,  
Но виноградники держат  
В строгости, как внучат.

Марткопские старики  
Уходят поодиночке,  
Как на войну уходили  
В давние времена,  
И в могилы ложатся  
В выцветших гимнастерках,  
Словно в окопы солдатские —  
На время — не навсегда.

Следовало бы сказать о прекрасном оформлении книги Валерием Локшиным, но книжная графика этого самобытного художника заслуживает особого, не «мимолетного», разговора.

Итак, в то время, когда разговоры о падении интереса к стиху стали общим местом, прозаик возвращается к этой возвышенной форме самовыражения. Мы живем в быстроменяющуюся эпоху. Не наступит ли «время стихов»?

Владимир ПРОСТОСЕРДОВ



საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИН-ТЭЛИ (ответственный секретарь), Михаил ЛОХВИЦКИЙ,

**Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,** Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили  
Корректор Т. Бадриашвили

---

Сдано в набор 6.12.1988. Подписано к печати 08.02.1989.  
УЭ 08808. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская  
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.  
л. 14,0. Тираж 6 000. Заказ 3056. Цена 65 коп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

---

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина 14.



65 კ.

26-89

89-117

ИНДЕКС 76117

საქართველოს  
ბიბლიოთეკა

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი  
„ლიტერატურნია ვრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

